

КРИСТИНА СОЛБ

Тюнерка,

которая слишком
много знала



Кристина Соль

**Пионерка, которая
слишком много знала**

«Автор»

2026

Соль К.

Пионерка, которая слишком много знала / К. Соль — «Автор»,
2026

Я умерла в сорок лет и проснулась в четырнадцать. Сентябрь восемьдесят девятого. За окном страна, которой осталось два года. На стуле школьная форма, на тумбочке пионерский галстук, мать кричит, что я опоздаю на первый урок. Сначала я решила, что мне приснилась целая жизнь. Потом события из этого сна начали сбываться одно за другим, точно по датам. У меня в голове двадцать шесть лет чужого будущего. И ни паспорта, ни денег, ни права подписи, ни единого взрослого, который воспримет меня всерьёз. Проблема первая: я знаю, что будет, но не могу сказать это вслух. Вторая: чтобы использовать знание, придётся кому-то его доверить. Третья, и самая скверная: чем удачнее я вмешиваюсь, тем быстрее будущее перестаёт совпадать с тем, которое я помню. А в конце тетради, исписанной моим четырнадцатилетним почерком, стоит дата, когда я должна умереть во второй раз.

Содержание

Глава 1. Второй раз в четырнадцать	5
Глава 2. Тетрадь	10
Глава 3. Случайность	15
Глава 4. Семья, которую я уже похоронила	19
Глава 5. Девятое ноября	22
Глава 6. Чего у меня нет	25
Глава 7. Политинформация	29
Глава 8. Список	32
Глава 9. Первый рычаг	35
Глава 10. Кооператив	38
Глава 11. Очередь	41
Глава 12. Откуда ты знаешь	44
Глава 13. Опасно умная	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Кристина Соль

Пионерка, которая слишком много знала

Глава 1. Второй раз в четырнадцать

Меня разбудил будильник, которого у меня не было двадцать шесть лет.

Он не пел, не вибрировал и не спрашивал, отложить ли на пять минут. Он колотил железом по железу, подпрыгивая на тумбочке, и делал это с такой честной яростью, что я потянулась к нему, не открывая глаз, чтобы прихлопнуть ладонью.

Рука наткнулась на холодный металл. Я поискала рядом телефон — просто по привычке, как ищут очки, — и нашла стакан с водой, край книжки и что-то шершавое, вроде вязаной салфетки.

— Ира! Ты встала?

Голос был из кухни, и это был голос моей матери.

Я лежала с закрытыми глазами и очень внимательно слушала себя. Последнее, что я помнила, — февраль, лёд под ботинком, слишком близкий свет фар и чужой крик, короткий и совершенно бесполезный. Потом ничего. Сорок лет, две работы, один развод, кредит за квартиру, который я так и не догасила, — и всё это закончилось на перекрёстке, где я переходила там же, где переходила пятнадцать лет подряд.

Значит, больница, подумала я. Значит, всё-таки не сразу.

Логика была так себе, но в больнице хотя бы можно было объяснить голос матери. Мать умерла в две тысячи одиннадцатом, весной, и я тогда четыре дня не могла заставить себя войти в её комнату. Мозг, который умирает, наверное, имеет право включить что угодно. Пусть включает.

Я открыла глаза.

Обои были в мелкий ромбик, и я узнала их раньше, чем успела подумать, что их узнаю. Над кроватью висел ковёр. На спинке стула лежала школьная форма — коричневое платье и фартук, чёрный, будничный, с помятым левым крылом, потому что я всегда садилась на него, когда завязывала шнурки.

Я долго смотрела на этот фартук.

Потом посмотрела на свои руки.

Руки были маленькие. Не худые, не изящные — детские, с обкусанным заусенцем на большом пальце и без шрама, который я заработала в девяносто седьмом консервной банкой и носила потом восемнадцать лет. Кожа на костяшках была гладкая и глупая. Я согнула пальцы, разогнула, посмотрела на них с обратной стороны, как будто там могло быть написано что-то полезное.

Живот под майкой был плоский и целый, без белой полосы поперёк, и вот это оказалось хуже всего остального, вместе взятого. Я накрыла его ладонью и полежала так секунд десять. Потом убрала руку и решила, что об этом я подумаю не сейчас.

— Ирина! — Дверь дёрнулась, но не открылась. — Я тебя третий раз зову. Четверть началась, ты соображаешь?

Я села.

Голова слегка поплыла, и это тоже было незнакомое ощущение — так голова не плывёт, когда тебе сорок, у сорока лет другой набор неприятностей. Комната была четыре шага в длину. Письменный стол под окном, на столе — стопка учебников, обёрнутых в кальку, чернильное пятно у левого края, которое я, оказывается, помнила, и лампа с зелёным колпаком. У двери на гвозде висел портфель.

На тумбочке, рядом с будильником, лежал пионерский галстук.

Я взяла его в руки. Ткань была скользкая, тонкая, с выцветшим уголком. От неё пахло утюгом.

Ну хорошо, сказала я себе. Хорошо. Это сон.

Мне было сорок лет, и я знала, как выглядят сны. Сны — это когда ты идёшь на экзамен, который сдала в девяносто третьем, и не можешь найти аудиторию. Сны неаккуратные. В них лица знакомых людей приделаны к чужим фигурам, коридоры ведут не туда, а если попробовать что-нибудь прочесть, буквы расползаются.

Я развернула первый попавшийся учебник.

«Алгебра». Восьмой класс. На форзаце чернилами, моим собственным почерком, только круглее и прилежнее, чем я привыкла: «Соловьёва Ирина, 8 „Б“».

Буквы никуда не расползались. Я перевернула страницу, прочитала абзац про разложение на множители, поняла из него примерно половину и ощутила первую по-настоящему неприятную вещь за это утро: я не помнила ни одной формулы. Ни одной. Я помнила, чем закончилась страна, помнила курс доллара в августе девяносто восьмого, помнила, сколько стоила однушка в Отрадном в две тысячи четвёртом, и не помнила, как раскладывают на множители.

В книжках про такое люди первым делом вспоминают таблицу Менделеева, устройство пороха и все выигрышные номера подряд. Я лежала в кровати и вспоминала, что у нас под ванной подтекает и что никто это не починит до девяносто третьего.

— Ира, я ухожу! — крикнула мать. — Хлеб на столе, чай в чайнике, не забудь ключи, вчера забыла!

Я не помнила, чтобы вчера забывала ключи. Вчера у меня был февраль и перекрёсток.

Пол оказался холодным, линолеум — липким от вчерашнего мытья. Я дошла до двери и открыла её.

В коридоре было темно, лампочка горела только в кухне, и мать стояла ко мне спиной, в пальто, и застёгивала пуговицу у горла. Пальто было серое, с меховым воротником, я его помнила и помнила, что оно кололось.

Потом она обернулась.

Ей было тридцать восемь.

Я стояла босиком на линолеуме, смотрела на женщину моложе себя, у которой ещё не появилась серая прядь надо лбом и глубокая складка между бровями, и не могла сказать ни слова. Она была раздражена, куда-то опаздывала и держала в руке сумку, и в этом лице не было ничего, что появилось потом, — ни двух тысяч одиннадцатого, ни больницы, ни того, как она в последний месяц называла меня Вале́й, путая с сестрой.

— Ты чего? — сказала мать.

— Ничего, — сказала я. Голос был высокий и чужой. — Мам.

Одно слово, а её уже раздражало, что я стою.

— Босиком не стой, у тебя горло на прошлой неделе. Форму погладила?

— Погладила, — соврала я на автомате, потому что фартук был мятый, а я в четырнадцать лет врала матери примерно так же, как дышала.

— И галстук, — сказала она уже от двери. — Соловьёва, я не шучу. Мне звонить будут — я тебе устрою.

Дверь хлопнула.

Я постояла в коридоре, глядя на дверь, обитую коричневым дерматином с выпуклыми пуговками. Одной пуговицы не хватало — левой нижней. Я не знала, что помню про эту пуговку. Я вообще не думала о ней тридцать семь лет.

Вот тут мне впервые стало по-настоящему нехорошо.

Сон может показать тебе твою мать. Сон может показать твою квартиру. Но откуда сон берёт пуговку, которой я не помнила, — и почему, увидев её, я сразу знаю, что её не хватает?

Я пошла на кухню: стоять было глупо, а на кухне хотя бы шумел холодильник.

На столе лежала половина батона, накрытая полотенцем, стоял чайник и банка с растворимым кофе, в которой кофе не было, а был сахар. Я знала, что там сахар, ещё до того, как открыла крышку. Знать такие вещи было немножко унизительно.

На стене висел календарь.

Я подошла и посмотрела на него так, как смотрят на анализы.

Сентябрь. Понедельник, четвёртое.

Тысяча девятьсот восемьдесят девятый.

Я села на табуретку. Табуретка была та самая, с расшатанной ножкой, её отец подтягивал раз в полгода и каждый раз обещал, что теперь навсегда.

Восемьдесят девятый.

Я стала считать, и считалось прекрасно. Через два месяца — стена. Через четыре — очередь на Пушкинской, самая знаменитая очередь моего детства, я в ней стояла, я это помнила: снег, три часа, и клетка оказалась обычной. Через два года — три дня в августе, балет по всем каналам и отец, который сидел на этой самой кухне и говорил, что теперь всё изменится. Через два года и четыре месяца страны, где я сейчас сижу, не станет вообще.

А потом будет девяносто второй, девяносто третий, девяносто восьмой. Потом всё остальное. Потом ещё двадцать лет, которые я прожила плохо, потому что не знала ничего, а теперь знаю всё, и мне четырнадцать, и главная моя проблема на ближайший час — мятый фартук, из-за которого матери будут звонить.

Я засмеялась. Смеяться было нельзя — я сидела одна на кухне и хохотала в голос, как ненормальная, и остановиться получилось не сразу. Четырнадцатилетнее тело смеялось охотно и с удовольствием, у него на этот счёт вообще не было никаких сомнений.

Потом я вытерла глаза и стала думать по-взрослому.

Либо я сплю — но тогда откуда пуговка, чернильное пятно, ромбики на обоях и то, как мать сказала «я тебе устрою», с этим её ударением, которое я забыла лет двадцать назад и узнала мгновенно. Либо я лежу под аппаратом, и всё это последние искры, — но искры бывают короткие, а я тут уже сорок минут и успела подумать про сахар в банке из-под кофе.

Либо третье, и о третьем думать не хотелось.

Я встала, налила себе чаю и обожглась, потому что вода в чайнике оказалась не «горячая», а кипяток, и это тоже был аргумент. Во сне не обжигаются по-настоящему. Во сне вообще ничего не болит так подробно.

Потом я пошла проверять квартиру.

Я осмотрела ванную — под ванной действительно подтекало, на полу лежала тряпка, и тряпку кто-то менял, значит, все всё знали и никто ничего не делал, ровно как я помнила. Я заглянула в комнату родителей и увидела на трюмо флакон духов, которые перестали выпускать раньше, чем я успела вырасти. Я открыла сервант и нашла хрусталь, который стоял там как неприкосновенный запас на случай гостей, а гостей не было — гостям надо ставить на стол, а ставить было нечего.

Я нашла отцовскую записную книжку и полистала. Телефоны шестизначные, у половины исправлены цифры, вписанные поверх. Почерк отца — крупный, с наклоном влево. Отец умер в двухтысячном, ему было пятьдесят три. Вернее, умрёт. К такому склонению глаголов я привыкала потом ещё очень долго.

Я закрыла книжку и положила её точно туда, где взяла.

В комнате брата было не убрано, на полу валялись солдатики, и один был безголовый. Витьке было девять. Через шестнадцать лет он перестанет со мной разговаривать из-за денег, которых у меня к тому моменту не будет, но он будет уверен, что будут.

Я стояла в дверях его комнаты и смотрела на безголового солдатика, и во мне поднималось что-то похожее на злость, только шире и горячее, и от этого хотелось немедленно начать действовать.

Потому что если — если — это правда, то у меня в голове лежит двадцать шесть лет, которые ещё никто не прожил. Я знаю, что будет с этой квартирой, с этими деньгами, с этой страной и с этими людьми. Я знаю, куда бежать, чего не делать, кого не слушать, чего никогда, ни при каких обстоятельствах не покупать. Я знаю, чем всё кончится, и я сижу тут, в фартуке, и мне надо в школу.

Часы на кухне показывали без двадцати восемь.

Вот тут четырнадцатилетнее тело подало голос: мы опаздываем.

Я оделась быстрее, чем думала. Платье было тесновато под мышками. Фартук застегнулся сам собой, руки помнили лучше головы, и это было отдельно жутко — смотреть, как твои собственные пальцы делают то, чему тебя не учили в этой жизни. Галстук я завязала с третьей попытки, стоя перед зеркалом в коридоре.

Из зеркала на меня смотрела девочка.

Круглое лицо, брови домиком, на подбородке два прыща, волосы в хвост, не мытые со вчера. Никакого достоинства, никакой осанки, никакого выражения на лице — четырнадцать лет, из которых можно сделать что угодно и пока не сделано ничего.

Я прожила сорок лет и умерла. Логично было бы начать вторую жизнь с чего-нибудь значительного. Я начала с того, что проспала и завязала галстук с третьего раза.

— Ладно, — сказала я зеркалу вслух. — Ладно.

Ключ нашёлся в кармане куртки, на вешалке, под вязаной шапкой, которая кололась так, как я и боялась.

На лестнице пахло щами и сырым бетоном, лампочка на площадке между третьим и четвёртым не горела, и я прошла эти шесть ступенек в темноте, ни разу не сбившись, потому что тело знало их наизусть.

Во дворе было прохладно и очень светло. Женщина в синем халате мела асфальт у песочницы. Двое мальчишек тащили портфели, третий бил ногой по банке. У подъезда напротив стоял «Москвич» цвета детской неожиданности, и на его крыше лежали жёлтые листья.

Я остановилась и посмотрела на всё это.

В моей памяти этот двор был застроен: справа торговый центр, слева шлагбаум и парковка, песочницы нет, деревьев нет, женщины в синем халате нет и быть не может. Я знала, каким этот двор станет, до последнего сантиметра — я видела его таким последний раз в феврале, за неделю до перекрёстка.

Сейчас тут росли деревья, и было почти восемь утра, и от угла дома тянуло дымом — кто-то жёг листья, хотя жечь листья в сентябре ещё рано.

Я стояла посреди двора в чужом коротком пальто и очень старалась не заплакать, потому что заплакать было бы уже совсем ни к чему.

Хорошо, подумала я. Допустим, сон. Тогда он должен закончиться. Сны заканчиваются. Тогда просто дождёмся вечера.

Но если он не закончится к вечеру — а он, судя по всему, не собирался, — то мне нужны две вещи, и обе нужны сегодня. Мне нужна тетрадь, куда я запишу всё, что помню, пока не забыла. И мне нужно понять, чем в этой стране, в этом году, в этом теле может заниматься человек, у которого нет ни денег, ни паспорта, ни одного взрослого, который воспримет его всерьёз.

Мимо прошли мальчишки с портфелями. Один обернулся и крикнул:

— Соловьёва, чего встала? Опоздаешь!

Я его не помнила совершенно. Ни имени, ни фамилии, ни лица — ничего.

— Иду, — сказала я.

И пошла в школу.

Глава 2. Тетрадь

Школа стояла там же, где всегда, и это было первое, что меня по-настоящему обрадовало за утро: три этажа, серый кирпич, крыльцо в четыре ступеньки и вытоптанная тропинка через газон, которой пользовались все, кроме учителей.

Радость кончилась на крыльце: я не знала, куда идти.

В моей памяти этот коридор был широкий и светлый. Сейчас он был узкий, тёмно-зелёный до середины стены и забитый детьми так плотно, что двигаться приходилось не самой, а вместе со всеми. Меня внесло на второй этаж, протащило мимо расписания, которое я не успела прочитать, и выбросило у окна.

Восьмой «Б». Кабинет какой?

Я стояла с портфелем и очень старалась выглядеть как человек, который просто задумался. Внутри у меня работал взрослый мозг, и работал он примерно так: спросить нельзя, потому что «а где мой класс» — это либо шутка, либо сотрясение мозга, а объяснять про сотрясение будет труднее, чем найти кабинет.

— Соловьёва, ты чего тут? — Мимо шла девочка с двумя косами и авоськой вместо портфеля. — Тамара сказала, в двадцать первый, у нас там литература первым.

— Иду, — сказала я.

Она задержала на мне взгляд секунду дольше, чем нужно, и пошла дальше, а я осталась стоять с новой информацией: есть Тамара, есть двадцать первый кабинет и есть девочка с косами, которая знает моё имя, а я её — нет. Совсем. Ни лица, ни голоса, ни того, дружили мы или нет.

Двадцать шесть лет — это, оказывается, очень много. Я забыла своих одноклассников так основательно, будто их стёрли специально.

Двадцать первый кабинет нашёлся в конце коридора.

Я вошла и остановилась, потому что не знала, где моя парта.

Класс гудел. Тридцать с лишним человек, все меньше меня ростом в моей прошлой жизни и все примерно вровень со мной сейчас. Кто-то сидел на подоконнике, кто-то ел булку, у доски двое мальчишек делили портфель, и один тянул за ручку, а второй за угол.

— Ир, ты чего застыла? — Девочка у третьей парты у окна подвинула ко мне свой локоть. — Садись, я тебе место держу.

Я села рядом с ней и в первый раз за это утро почувствовала себя спасённой. Она была круглолицая, с обкусанными ногтями и с чернильным пятном на пальце, и от неё пахло клубничным мылом.

— Ты домашку по литре сделала? — спросила она.

— Нет, — честно сказала я.

— И я нет.

Она достала из портфеля две тетради, одну открыла и стала быстро дописывать что-то в конце страницы, придерживая волосы плечом. Я смотрела на неё и пыталась вспомнить хоть что-нибудь. Имя не приходило. Пришло другое, боковое и очень неприятное: ощущение, что эта девочка в моей жизни была, потом перестала быть, и я даже не заметила, когда именно.

Прозвенел звонок. Дверь открылась, и вошла учительница — маленькая, седая, с указкой, которую держала как трость.

— Здравствуйте, садитесь. Кузьмина, тетрадь на край парты. Соловьёва, форма.

— Что форма? — спросила я.

По классу прошёл смешок, короткий, вопросительный, и я поняла, что сделала первую ошибку. Четырнадцатилетние девочки не спрашивают «что форма» тем тоном, каким спрашивают на планёрке.

— Фартук мятый, — сказала учительница, глядя на меня поверх очков. — Завтра чтобы был отглажен.

— Хорошо.

Она ещё секунду смотрела, потом отвернулась к доске, а Кузьмина — Кузьмина, значит, — толкнула меня локтем и прошептала:

— Ты чего сегодня такая?

— Не выпалась, — сказала я.

Урок был про «Капитанскую дочку». Я помнила примерно, чем там всё кончилось, и не помнила ничего из того, что от меня требовалось: ни автора учебника, ни того, что мы проходили на прошлой неделе, ни в каком классе вообще проходят Пушкина. Я сидела и слушала, как учительница объясняет, что такое честь, и старалась не думать о том, что за окном сентябрь восемьдесят девятого и что все планы всех людей в этой комнате примерно через два года станут неактуальны.

Первый урок я пережила. На втором меня вызвали к доске.

Математичка Тамара Викторовна оказалась той самой Тамарой, которая распорядилась про двадцать первый кабинет, — крупная женщина с очень спокойным голосом, от которого класс садился ровнее. Она открыла журнал, повела пальцем сверху вниз и сказала:

— Соловьёва. К доске.

Я встала.

Двадцать шесть лет назад — вернее, через двадцать шесть лет, я всё ещё путалась — я сдавала квартальные отчёты, спорила с налоговой, считала маржу в уме и однажды поймала бухгалтера на подлоге по одной строчке. Я взяла мел и посмотрела на доску, где было написано условие, и поняла, что не понимаю в нём ни одного слова.

То есть слова я понимала. Каждое по отдельности. Вместе они не значили ничего.

— Ну? — сказала Тамара Викторовна.

Я стояла у доски и держала мел. За спиной было тридцать человек, и молчание набирало вес с каждой секундой, и мне было сорок лет, и я ничего не могла с этим сделать. Захотелось объяснить ей — вам не нужно это от меня, я умею считать деньги лучше, чем половина этой школы будет уметь всю жизнь, просто спросите меня о другом.

— Я не готова, — сказала я.

— Садись. Два.

Она произнесла это без всякого выражения, буднично, как ставят печать, и я пошла на место. Уши горели. Тело реагировало быстрее головы: щёки, шея, ладони — всё вспыхнуло само, и с этим невозможно было договориться. Взрослая женщина внутри пожала плечами и сказала, что это ерунда, а четырнадцатилетняя девочка снаружи чуть не разревелась на глазах у всего класса.

— Ты ж вчера решала, — шёпотом сказала Кузьмина. — У тебя ж всё было.

Значит, вчера у меня всё было. Значит, Ирина Соловьёва из этой жизни училась нормально, и с завтрашнего дня всем будет заметно, что с ней что-то случилось.

Я записала это на полях тетради первым пунктом того, что мне предстояло решать. Пока меня спасал сентябрь: в первую неделю после каникул все тупят, и это никого не удивляет. Дальше придётся что-то делать.

На перемене я вышла в коридор и стала слушать.

Взрослому человеку в школе делать нечего, но слушать можно бесконечно. Мальчишки у окна обсуждали видик, который кто-то видел у кого-то дома. Девочки у стены — жвачку и то, у кого какие вкладыши. Двое старшеклассников тащили магнитофон в спортзал, и один говорил другому, что кассету перепишут за трояк.

Три рубля за переписанную кассету.

Я стояла у окна, смотрела во двор и считала. Считать было приятно — это было единственное, что я в этом здании умела делать лучше всех. Кассета, магнитофон, полдня работы. Видик, телевизор, комната, двадцать человек, билет по рублю. Я знала, сколько таких комнат откроется в этом городе через год, знала, что это продержится недолго и что первые заработают на этом больше, чем последние.

И тут же следом пришло второе, отрезвляющее: у меня нет ни магнитофона, ни видика, ни денег, ни права подписать что бы то ни было, ни даже возможности выйти из дома после восьми вечера без объяснений.

Я вернулась в класс с ощущением, что меня заперли в очень тесной комнате и оставили в ней все инструменты, кроме рук.

Сорвалась я на последнем уроке.

Классный час вела всё та же Тамара Викторовна, и речь шла про сбор макулатуры, про звено, которое опять всё завалило, и про мальчика по фамилии Хромов, который в прошлый раз не пришёл.

Хромова я не помнила совершенно. Хромов сидел на первой парте, худой, в свитере с растянутыми рукавами, и смотрел в парту.

— Хромов, встань, — сказала Тамара Викторовна. — Расскажи классу, почему ты решил, что тебе можно не приходить.

Он встал и не сказал ничего.

— Мы ждём.

Он молчал. Кто-то сзади хмыкнул. Тамара Викторовна выдержала паузу такой длины, какой её выдерживают люди, которым нравится этот момент, и сказала:

— У всех родители работают. У всех. Ты не особенный.

И вот тут во мне что-то дёрнулось и пошло само.

— У него мать в больнице, — сказала я.

Я не знала этого. То есть я знала — но не отсюда, а из какого-то далёкого, полустёртого места в памяти, где Хромов был не мальчиком в свитере, а взрослым мужиком, который в девяносто четвёртом торговал сигаретами у метро и рассказывал мне, тогда девятнадцатилетней, свою жизнь с самого начала — ему было некому её рассказывать.

Класс замолчал. Хромов посмотрел на меня, и лучше бы он этого не делал.

— Соловьёва, — сказала Тамара Викторовна, — тебя спрашивали?

— Нет.

— Тогда почему ты говоришь?

Правильный ответ был: простите, больше не буду. Я его знала. Мне было сорок лет, и я прекрасно знала, как разговаривают с человеком, у которого власть и плохое настроение.

— Потому что вы спросили, а он не может ответить, — сказала я. — Он не может сказать это вслух при всех. Вы это понимаете не хуже меня.

Тридцать человек одновременно перестали дышать, и в классе стало слышно, как за окном во дворе бьют мячом об стену.

Тамара Викторовна очень медленно закрыла журнал.

— Дневник, — сказала она.

Я положила дневник ей на стол. Она писала долго, крупно, и я стояла рядом и смотрела на её руку, на широкое обручальное кольцо, врезавшееся в палец, и думала о том, что вот сейчас, в первый же день, я уже начала выделяться, а мне этого нельзя. Мне нельзя выделяться минимум до тех пор, пока я не пойму, как здесь всё устроено.

— Родителей в четверг, — сказала она, отдавая дневник. — К пяти.

— Хорошо.

— И, Соловьёва. — Она посмотрела на меня уже без всякой строгости, с чем-то более неприятным — с интересом. — Ты сегодня какая-то другая.

— Не выпалась, — сказала я во второй раз за день.

Домой я шла пешком, хотя две остановки можно было проехать.

Мне нужно было время. Сентябрь стоял тёплый, во дворах жгли листья, у гастронома выстроилась очередь, и я прошла мимо неё, автоматически посмотрев, за чем стоят, — за сахаром. Женщина впереди держала авоську и сумку, и в сумке лежала пачка «Беломора», и всё это было настолько настоящее, что мне снова стало тяжело дышать.

Дома было пусто. Витька гулял, мать ещё не пришла, отец возвращался поздно.

Я села за письменный стол, вырвала из середины общей тетради двойной лист, потом подумала и достала новую — толстую, в клетку, с таблицей умножения на обороте. На обложке написала «Литература, 8 „Б“», потому что мать могла заглянуть, а мать никогда в жизни не открывала мои тетради по литературе.

Потом открыла первую страницу и остановилась.

Это было труднее, чем я думала. Двадцать шесть лет — они лежали у меня в голове сплошным полотном, и, когда я попыталась вытащить оттуда конкретные даты, оказалось, что дат почти нет. Есть годы. Есть события без чисел. Есть куски, за которые я держалась, потому что они меня касались, и провалы там, где меня это не касалось.

Я начала писать то, в чём была уверена.

Ноябрь этого года — стена в Берлине. Числа я помнила: оно однажды попало мне в кроссворде и я тогда удивилась, что помню.

Зима — открытие большого американского кафе на Пушкинской. Огромная очередь. Год восемьдесят девятый или девяностый, точнее не скажу.

Через два года — август. Три дня. Танки. Балет по телевизору. Дальше — конец страны, до Нового года.

Девяносто второй — цены. Деньги, которые лежат на книжке, превращаются в ничто. Это я подчеркнула дважды, потому что деньги на книжке в этой квартире были, и они были для меня, на институт.

Девяносто четвёртый — контора, которая обещает проценты и собирает деньги со всей страны. Название я помнила и записала.

Девяносто восьмой — август. Обвал. Рубль.

Дальше писалось хуже. Дальше шли двухтысячные, и там у меня были уже не даты, а погода: примерно тогда стало так-то, примерно тогда появилось то-то. Компьютеры. Связь. Магазины, которые торгуют, ничем не торгуя. Названия трёх или четырёх компаний, которые к моему последнему февралю стоили больше, чем весь Советский Союз, вместе взятый, — вот их я записала печатными буквами, потому что не была уверена, что напишу правильно.

Потом я перечитала.

Тетрадь на два часа работы взрослого человека, который прожил двадцать шесть лет и мог бы вспомнить хоть что-нибудь полезное. Ни одной таблицы. Ни одного номера. Ни единой строчки, которую можно превратить в деньги завтра.

Всё, что у меня было, лежало впереди — через два месяца, через год, через три, через девять.

Я перевернула страницу и написала сверху одно слово: «Проверить».

Тут рука пошла медленнее.

Потому что проверять большое — стену, страну, август — можно только сидя и ожидая. А мне нужно было что-то ближе, своё, такое, о чём я могла знать только в одном случае.

Я подумала и записала: бабушка, ноябрь.

Бабушка, мамина мать, жила в двух троллейбусных остановках, у неё была квартира с высокими потолками, кот и вечно закрытая форточка. Я помнила, как мать говорила по телефону, стоя в коридоре и держась за косяк, а я сидела на кухне и делала уроки. Это было в конце осени, я точно помню, что было темно рано, а мать была в халате.

Я посмотрела на эту строчку и почувствовала себя гадко — так, как не чувствовала себя ни разу за весь этот бесконечный день.

Потому что если она сбудется, то я больше не смогу считать это сном.

А если она не сбудется — значит, весь мой сорокалетний опыт стоит два балла по алгебре, и мне придётся жить эту жизнь ещё раз с самого начала, наощупь, как все.

Я не знала, какого из двух вариантов боюсь сильнее.

В замке провернулся ключ, мать пришла с работы, крикнула из коридора, чтобы я ставила чайник, и я закрыла тетрадь, положила её в стопку учебников и пошла ставить чайник.

Глава 3. Случайность

Родителей вызвали на четверг к пяти, а мать освобождалась в шесть, и это была первая проблема, которую мне предстояло решить.

Я взялась за неё в среду вечером, за ужином, и взялась неправильно.

Взрослому человеку кажется, что он умеет разговаривать. Двадцать лет переговоров, начальники, подчинённые, налоговая, суд по разделу имущества — я умела заходить издалека, умела дать собеседнику почувствовать, что решение он принял сам. Я села за стол, дождалась, пока мать положит себе картошку, и сказала спокойным, ровным, доброжелательным голосом:

— Мам, я тут подумала. В четверг Тамара Викторовна зовёт родителей, но тебе с работы не отпроситься, а дело выведенного яйца не стоит. Может, отец сходит?

Отец поднял голову от тарелки.

Мать положила вилку.

— Какая Тамара Викторовна? — сказала она. — Какой четверг?

Из всего сказанного она услышала одно: меня вызывают. Всё остальное, что я так аккуратно упаковала — про отпроситься, про яйцо, про отца, — прошло мимо неё, как ветер мимо стены.

— Дневник, — сказала мать.

Я принесла дневник. Она прочитала запись — «грубость учителю, вмешательство в разговор» — прочитала второй раз, и я смотрела, как её лицо становится тем самым лицом, которое я потом не видела двадцать лет и, честно говоря, скупала по нему меньше всего.

— Ты грубила Тамаре?

— Я не грубила. Я сказала, что нельзя при всём классе спрашивать мальчика, почему у него мать не следит за макулатурой, если у него мать в больнице.

— А тебя спрашивали?

Вот это и было главное. Не что я сказала, а что меня не спрашивали.

— Нет, — сказала я.

— Значит, грубила.

Тут я и сорвалась, и сорвалась молниеносно — сама не успела заметить, откуда взялось. Только что я сидела и вела переговоры, а через секунду уже говорила громко, быстро, с той взрослой уверенностью, которая в этой квартире не была подкреплена ничем:

— Мам, ты можешь один раз послушать, что я говорю, а не что об этом подумает Тамара Викторовна? Женщина унижала ребёнка перед классом. Она это делала — ей можно. И вот это тебя не волнует, а волнует, что я влезла не по чину. Ты сама-то себя слышишь?

Стало очень тихо.

Отец медленно отодвинул тарелку. Витька перестал жевать и смотрел на меня во все глаза — с восторгом человека, который присутствует при чужой катастрофе и не может поверить своему счастью.

— Ты как с матерью разговариваешь? — сказала мать.

И я поняла, что проиграла всё. Спор я выиграла ещё на второй фразе, я была права, и она это знала. А проиграла я позицию, целиком и сразу, потому что тридцативосьмилетняя женщина, которая с семи утра на ногах, только что услышала от четырнадцатилетней дочери «ты сама-то себя слышишь», и после этого не имело никакого значения, кто прав.

— Извини, — сказала я.

— Гулять не пойдёшь, — сказала мать. — Ни завтра, ни в выходные. И в четверг я сама пойду, отпрошусь. Мне ещё не хватало, чтобы отец за тобой ходил.

Она встала и понесла посуду в раковину. Отец посмотрел на меня и слегка развёл руками — не сочувственно, а скорее с интересом, как смотрят на человека, который зачем-то полез в воду с обрыва.

Я ушла в комнату, закрыла дверь и села на кровать.

Сорок лет. Двадцать шесть лет опыта. Умение вести переговоры, умение читать людей, умение не поднимать голос. И весь этот арсенал разбился о картошку с котлетой за две минуты, потому что в этой комнате я не переговорщик, а Ирка, которую можно не пустить гулять.

Хуже всего было то, что я знала, как надо было. Надо было не начинать. Надо было получить свои родительские в четверг, отсидеть, покивать, дать матери десять минут поругаться и не спорить ни секунды. Я это знала — и всё равно полезла: внутри у меня сидела женщина, которую двадцать лет никто не смел перебивать, и эта женщина не собиралась молчать за столом на собственной кухне.

Значит, придётся учиться заново. Не быть правой, а добиваться результата.

Я достала тетрадь по литературе, открыла на второй странице и приписала внизу, под словом «Проверить», ещё одну строчку, уже для себя, без всяких дат: «Спорить только тогда, когда за это что-то дают».

Читать это было унизительно. Но правда была именно такая.

Четверг прошёл лучше, чем я боялась.

Мать вернулась в семь, поставила сумку, разулась и сказала одно:

— Тамара говорит, ты умная.

— И всё?

— И что язык у тебя длиннее, чем надо. — Она прошла на кухню. — Иди руки мой.

Никакого разбора, никаких криков. Через три дня история про Хромова растворилась, как растворяется в школе всё, кроме двоек в журнале. Хромов, кстати, со мной не заговорил ни разу — только на литературе, когда я не могла найти нужную страницу, молча пододвинул свой учебник и отодвинулся сам, чтобы не мешать.

Я к тому времени уже начала привыкать.

Привыкать оказалось делом отдельным и утомительным. Тело просыпалось в семь без всякого будильника и хотело спать до одиннадцати. Голова к третьему уроку переставала работать вообще. На физкультуре я обнаружила, что могу бегать — просто бегать, легко, не считая шаги и не думая про колени, и это было такое ошеломительное, ни на что не похожее удовольствие, что я пробежала два круга лишних и получила от физрука похвалу, а от Кузьминой — вопрос, не заболела ли я.

Кузьмину звали Наташа. Я узнала это на четвёртый день, подсмотрев в её тетради, и записала себе в память с такой торжественностью, будто выучила иностранное слово.

А в субботу привезли видик.

Про это я вспомнила ещё в первый вечер, когда сидела над тетрадью. Вспомнила и записала одной строчкой, между стеной и кафе на Пушкинской: «Гена, пятый этаж, видик, осень». Гену я помнила смутно — здоровый мужик с усами, работал не то на автобазе, не то при автобазе, во дворе к нему относились с уважением, потому что он мог достать. Что именно достать — не уточнялось, но во дворе это и не требовалось.

В субботу с утра во дворе стояла его машина с открытым багажником, и вокруг было человек шесть.

Я шла из булочной с батоном под мышкой и остановилась.

Из багажника доставали коробку. Коробка была большая, светлая, с иностранными буквами и картинкой, и её несли вдвоём, хотя нести можно было и одному. Мужики стояли полукругом и смотрели, как её несут, с тем особенным выражением, с каким смотрят на чужое приобретение, которое очень хочется потрогать.

— Панасоник, — сказал кто-то с уважением.

Я стояла с батоном и чувствовала, как у меня холодеют руки.

Не оттого, что видик. Я знала, что будет видик, я это записала, — а оттого, что я записала это двенадцать дней назад в тетрадь, лежащую сейчас в стопке учебников между алгеброй и историей.

Мне понадобилось время, чтобы взять себя в руки. Взрослая часть меня работала честно и добросовестно: слушай, сказала она, ты жила в этом дворе. Ты знала, что у Гены появился видик. Ты знала, что это было осенью восемьдесят девятого — примерно, приблизительно, где-то тогда. Ты бы записала «осень» и попала бы в любой из трёх месяцев. Это не предсказание. Это память о том, что и так было.

И вообще, добавила она, ты записала не число. Ты записала «осень». Октябрь тоже осень. Гадалки так и работают.

Аргумент был неплохой, и я за него ухватилась.

Второй раз мне стало нехорошо вечером того же дня, когда я подсчитала.

К девяти вечера у Гены в квартире сидело человек двадцать. Я знаю точно, потому что стояла на площадке между этажами и слушала: дверь была приоткрыта, из квартиры несло дымом и звуком, и на лестнице сидели двое пацанов, которых внутрь не пустили.

— Чего дают? — спросила я.

— «Кобру», — сказал один с завистью. — Двумя сериями.

— А внутрь чего не идёте?

— Рубль, — сказал второй.

Двадцать человек. По рублю.

Я села на подоконник между этажами, положила рядом батон, который так и не донесла до дома, и стала считать. У матери зарплата была сто сорок, у отца — двести с чем-то. Гена за один вечер, ничего не делая, просто сидя в своей квартире с чужой кассетой, взял примерно шестую часть материнского месяца. Если он будет крутить в субботу и в воскресенье, дважды в день, то за месяц он сделает больше, чем моя мать и мой отец вместе взятые.

И это была не афера, не спекуляция и не то, за что в этой стране пока ещё сажали. Это был мужик, у которого дома техника, и соседи, которые хотят посмотреть кино.

Я сидела на холодном подоконнике и впервые с понедельника чувствовала себя нормально — не испуганно, не растерянно, а профессионально. Как будто мне снова показали таблицу с цифрами, а таблицы с цифрами я умела читать всю свою взрослую жизнь.

Из квартиры доносился звук выстрелов и восхищённый гул.

Через год этого добра будет в каждом дворе, подумала я. Через два откроются залы, потом их прикроют, потом откроют снова. Тот, кто зайдёт сейчас, снимет сливки. Тот, кто зайдёт через полтора года, будет драться за копейки.

А у меня — четырнадцать лет, домашний арест до понедельника и батон.

Я пошла домой, положила батон на стол, сказала матери, что была во дворе, и ушла в комнату.

Тетрадь я открывать не стала. Я легла на кровать, закинула руки за голову и стала думать по-настоящему — не про стену, не про август девяносто первого и не про названия компаний, которые я писала печатными буквами. Про Гену с пятого этажа.

Мне не нужен видик. Мне не нужны деньги на видик. Мне нужен человек, у которого видик уже есть и который не понимает, сколько на этом можно взять.

Потому что Гена крутил «Кобру» два раза за вечер и брал по рублю с носа, а мог бы крутить четыре и брать по рублю с носа. Потому что у него была одна кассета, а нужно было пять. Потому что он пускал двадцать человек, а на лестнице сидели двое, которых не пустили, и им тоже было чем заплатить.

Он не был жадным. Он просто не думал об этом как о деле. В восемьдесят девятом году в этой стране почти никто ещё не думал ни о чём как о деле, и в этом было моё преимущество — не в том, что я знала будущее, а в том, что я его помнила.

Оставалась мелочь.

Мне надо было объяснить всё это здоровому усатому мужику, который меня знает как Ирку со второго этажа, дочку Валентины Сергеевны, ту, которой четвёртого числа поставили двойку по алгебре и которую до понедельника не выпускают гулять.

Я лежала и смотрела в потолок, где над люстрой было пятно от того, что нас однажды залили, и думала, что первую взрослую сделку в своей второй жизни мне придётся заключать с человеком, который в лучшем случае погладит меня по голове.

Заснула я в одиннадцать, и это тоже была новость: последние лет пятнадцать я так рано не засыпала ни разу.

Глава 4. Семья, которую я уже похоронила

К середине октября я знала о своей семье больше, чем знала о ней за все сорок лет.

Это оказалось неожиданным побочным эффектом. Когда живёшь с людьми в сорок лет, ты их не видишь — они просто есть, как мебель и как погода. А я смотрела на них взрослыми глазами, и оказалось, что дома у нас всё это время шла своя жизнь, довольно тяжёлая, и в первый раз я её полностью проспала.

Отец, например, был несчастен.

Я поняла это не сразу, а на второй неделе, вечером, когда он пришёл в половине девятого, сел на табуретку в прихожей и минуты три не разувался. Просто сидел в куртке, с портфелем между ботинок. Потом снял ботинки, вымыл руки и пошёл ужинать, и за столом рассказывал, как у них в отделе теперь хозрасчёт, и как под этот хозрасчёт им уже третий месяц не дают заказ, и как Мальцев из соседнего отдела уходит в кооператив на четыреста рублей.

— Четыреста, — сказала мать. — Врёт.

— Может, и врёт, — сказал отец.

И на этом разговор закончился — мать поставила чайник, а Витька стал рассказывать про хомяка, которого им обещали в живой уголок.

Я сидела и молчала. Мне было что сказать про Мальцева, который не врал, и про хозрасчёт, и про то, что заказа не будет ни в декабре, ни в следующем году, и что через три года всего этого отдела не станет вместе с институтом, и что отец сначала пойдёт на рынок с сумками, а потом устроится сторожем и будет говорить, что это временно.

Вместо этого я спросила:

— Пап, а Мальцев кем идёт?

— В кооператив.

— Это понятно. Он там кем будет?

Отец посмотрел на меня с той короткой заминкой, которая у него означала удивление.

— Не знаю, — сказал он. — Инженером, наверное. Они какие-то приставки собирают.

— А почему ему четыреста, а тебе двести двадцать, если он тоже инженер?

— Потому что там кооператив, — сказала мать от плиты. — Там сегодня четыреста, а завтра сядут все.

Вот эта фраза — «сегодня четыреста, а завтра сядут все» — стоила больше, чем весь мой сорокалетний опыт. Я записала её в голове дословно, потому что она объясняла всё, что мне предстояло делать в ближайшие два года. Проблема была не в том, что в этой стране нельзя заработать. Проблема была в том, что люди, которых я собиралась уговаривать, не боялись бедности. Они боялись тюрьмы.

Мать была другой породы. Мать была двигатель.

Она вставала в шесть, приходила в шесть, и между этими двумя точками успевала отстоять две очереди, вымыть подъездное окно, потому что «никто ж не вымоет», отчитать Витьку за дневник, разморозить холодильник и поругаться по телефону с сестрой. Дома у неё всё было устроено на нитках и на честном слове, и всё держалось.

Деньги в этой квартире тоже держались на матери. Двести с чем-то отцовских, сто сорок её, минус квартплата, минус еда, минус Витькин сад — а сад уже был не сад, а школа, — и то, что оставалось, каждый месяц уносилось на сберкнижку.

Про книжку я узнала на третьей неделе.

Мать доставала её из ящика трюмо, из-под белья, и это была такая же ежемесячная процедура, как мытьё окна: она садилась к столу, раскладывала бумажки, что-то считала на листочке и потом убирала всё обратно. В тот вечер я стояла в дверях и смотрела.

— Чего? — сказала мать, не оборачиваясь.

— Ничего. Сколько там?

— Не твоё дело.

— Мам.

Она обернулась.

— Тебе на институт, — сказала она. — И Витьке. И на чёрный день. Что тебе объяснять?

Я стояла и смотрела на сберкнижку в её руках, синюю, потрёпанную по углам, и очень старалась сохранить нормальное лицо.

Потому что я знала, что будет с этими деньгами. Я помнила это не как факт из книжки, а собственной шкуркой: как мать в девяносто втором сидела на этой самой кухне с этой самой книжкой и говорила «я же копила», и как отец молчал, и как потом на всё, что копилось шесть лет, мы купили две пары зимних сапог. Мне, четырнадцатилетней тогда, было почти всё равно. Мне сорокалетней — нет.

Три года. У меня было три года, чтобы вынуть эти деньги оттуда и превратить во что-нибудь, что не превращается в две пары сапог.

— Мам, а если их снять и купить что-нибудь? — сказала я.

— Что купить?

— Не знаю. Что-нибудь, что не подешевеет.

Мать посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который предлагает выбросить хлеб.

— Ирина, — сказала она. — Деньги на книжке — это деньги. На них проценты идут. А вещь — это вещь, её ещё продать надо.

Крыть было нечем. В её мире это было чистой правдой и оставалось чистой правдой примерно ещё двадцать восемь месяцев.

— Понятно, — сказала я и ушла в комнату.

В комнате я села за стол и написала на полях тетради: «Книжка. Не спорить. Придумать повод».

Повод я придумывать начала в тот же вечер и не придумала ничего.

К бабушке мы поехали в последнее воскресенье октября.

Она жила у Разгуляя, в доме с высокими потолками и лепниной, которую замазали краской раз шесть, в квартире, где пахло валерьянкой, книгами и котом. Кота звали Маркиз, он был рыжий, наглый и в моей памяти прожил очень долго, дольше, чем полагается котам.

Бабушка открыла дверь, и я снова получила по голове.

Я не помнила её такой. В моей памяти бабушка была маленькая, сухая, с палкой, а эта женщина была на голову выше меня, с прямой спиной, в вязаной кофте, и у неё были твёрдые холодные руки, которыми она взяла моё лицо и повернула к свету.

— Похудела, — сказала она. — Валя, ты её кормишь?

— Кормлю, — сказала мать. — Она сама не ест.

Дальше был обед, и разговоры, и Витька, которого посадили за пианино, и Маркиз, который лежал на подоконнике и делал вид, что нас нет. Я сидела, ела бабушкины котлеты и смотрела на неё.

Она вставала и садилась медленнее, чем нужно. Один раз, поднимаясь за чайником, задержалась, держась за спинку стула, и переждала — коротко, привычно, как пережидают то, что бывает каждый день. Потом села и продолжила разговор с той же секунды, на которой остановилась.

Никто за столом этого не заметил.

Я поймала себя на том, что считаю дни до ноября, и мне стало настолько мерзко, что я отложила вилку.

Потому что я приехала сюда с двумя мыслями сразу, и вторая была хуже первой. Первая: надо что-то сделать. Вторая: если ничего не делать, я узнаю точно.

Взрослая женщина, которая двадцать шесть лет считала себя приличным человеком, сидела за столом у своей живой бабушки и прикидывала, что ноябрь — это очень удобная проверка.

— Ба, — сказала я. — Ты к врачу давно ходила?

— Господи, — сказала бабушка. — Ты в кого такая?

— Просто спрашиваю.

— Хожу я к врачу. В поликлинику к Нине Петровне. Валя, она у тебя доктор теперь?

— Она у меня философ, — сказала мать. — Вчера объясняла мне, что деньги на книжке держать глупо.

Бабушка засмеялась и налила себе чаю, и разговор ушёл, а я осталась сидеть с ощущением, что меня погладили по голове и поставили на полку.

Я попробовала ещё два раза.

В коридоре, пока обувались, сказала матери, что бабушка тяжело встаёт. Мать ответила: «Ей семьдесят один, Ира».

В троллейбусе сказала, что надо бы её показать хорошему врачу, не в поликлинике. Мать ответила: «Каком хорошему? Где я тебе его возьму?» — и это тоже была чистая правда: хорошего врача в этой стране в этом году брали не за деньги, а по знакомству, а знакомства не было.

Я замолчала и всю дорогу смотрела в окно.

Вот тут, в троллейбусе, между Разгуляем и домом, я впервые поняла всё правильно и до конца.

У меня было двадцать шесть лет чужого будущего в голове. Я знала, что случится с этой страной, с этими деньгами и с этими людьми. И я не могла сделать ровным счётом ничего: не могла снять деньги с книжки, не могла отвести бабушку к врачу, не могла даже настоять на этом — потому что настаивать нечем, у меня нет ни денег, ни имени, ни голоса. У меня есть только мнение, а мнение четырнадцатилетней девочки в этой семье стоит примерно столько же, сколько мнение Маркиза.

Всё, что я могу, — это уговаривать взрослых. А единственный способ уговорить взрослого — дать ему причину, в которую он поверит сам.

Значит, мне нужен взрослый. Не мать, не отец — с ними у меня отношения испорчены самой их природой. Мне нужен кто-то со стороны, кто увидит во мне не Ирку со второго этажа.

Дома я дождалась, пока все лягут, вышла на кухню, села к столу и написала на последней странице тетради список.

Список получился короткий и нищий. Ремонт техники. Кассеты. Видео. Репетиторство — но кто пойдёт к четырнадцатилетней. Мальцев с его приставками. Гена с пятого этажа.

Напротив каждого пункта нужно было вписать взрослого, через которого это можно сделать, и почти напротив каждого стоял прочерк.

С Геной я, кстати, попробовала. В среду, во дворе, подошла и спросила, не нужно ли ему помочь с кассетами — переписать, посчитать, что угодно. Он посмотрел на меня сверху вниз, с высоты своего роста и своих усов, и сказал:

— Ирка, ты уроки-то сделала?

Я сказала, что сделала.

— Ну и молодец, — сказал Гена.

И пошёл к своей машине.

Я стояла посреди двора и думала, что мне нужен другой заход. И что заходить надо не с того, что я хочу помочь, а с того, что он теряет деньги. Мужики не любят, когда им помогают. Мужики очень не любят, когда им говорят, что они теряют деньги, — но это они хотя бы слушают.

Ноябрь начинался через четыре дня.

Глава 5. Девятое ноября

Седьмого была демонстрация, и нас гнали на неё всей школой.

Я шла в колонне между Кузьминой и Хромовым, несла на плече древко с бумажным цветком, вырезанным на уроке труда, и смотрела по сторонам. Было холодно и празднично. Над колоннами качались портреты, кто-то из старших классов пел, у взрослых из соседней колонны в авоське звенело, и все шли, толкались и переговаривались с тем хорошим настроением, какое бывает у людей, которых отпустили с работы.

Я знала, что через два года ничего этого не будет. Ни колонн, ни портретов, ни этой конкретной даты в календаре. Знание лежало у меня в кармане, как чужой ключ, и я старалась о нём не думать, потому что думать о нём в толпе было невыносимо.

— Соловьёва, ты чего такая мрачная? — сказала Кузьмина. — Праздник же.

— Ноги мёрзнут, — сказала я.

Дома я весь вечер ходила из комнаты в кухню и обратно.

Мать спросила, что со мной. Я сказала, что ничего. Отец включил телевизор, там показывали праздничный концерт, и я села смотреть, но досидела только до второго номера.

До девятого оставалось два дня. Я перечитала свою тетрадь наизусть уже раз двадцать, и с каждым днём мне становилось всё труднее делать вид, что я живу обычную жизнь восьмиклассницы. Есть, ходить в школу и решать примеры, когда ты ждёшь, что послезавтра мир подтвердит или опровергнет твою вменяемость, оказалось почти невозможно.

Позвонили восьмого, в начале десятого вечера.

Я сидела за столом в комнате и делала русский. Телефон стоял в коридоре на тумбочке, мать взяла трубку, сказала «алё», и потом долго молчала.

Я вышла в коридор.

Мать стояла в халате и держалась за косяк.

Она держалась за косяк левой рукой, чуть выше плеча, и стояла спиной ко мне, и от лампочки на её халате лежала жёлтая полоса. Я это видела уже один раз. Не похожее, не примерно такое же — именно это: халат, косяк, рука, полоса света и её спина, которая ничего не выражала.

— Когда? — сказала мать в трубку.

Я стояла в дверях своей комнаты, и мне было очень холодно.

Бабушку увезли в тот же вечер. Соседка, которая заходила к ней по субботам, услышала кота — Маркиз орал в подъезде, потому что дверь была не заперта, — и вызвала. Мать уехала ночью, вернулась под утро, легла, не раздеваясь, и в семь встала и пошла на работу — за неё некому было выйти.

Бабушка умерла девятого днём, в больнице, не приходя в себя.

Мне сказали об этом в четыре часа, когда я вернулась из школы. Мать сидела на кухне и чистила картошку, чистила очень аккуратно, тонкой лентой, и сказала, не поднимая головы:

— Бабушки нет.

Я села напротив.

Я не заплакала. Мне было четырнадцать лет и одновременно сорок, и обе эти женщины внутри меня оказались одинаково бесполезны. Четырнадцатилетняя не понимала до конца, что это значит. Сорокалетняя понимала слишком хорошо: она это уже пережила однажды, отгоревала, дожидая до другой смерти, до третьей, и научилась держать лицо. Ни та, ни другая не умела плакать по человеку, которого две недели назад видела живым, а тридцать семь лет назад похоронила.

— Мам, — сказала я. — Дай я картошку дочисти.

Мать отдала мне нож и вышла из кухни, и я слышала, как она в ванной открыла воду.

Вечером пришли люди. Пришла тётя Люся, мамина сестра, приехала на такси и сразу начала распоряжаться; пришла соседка снизу; приходили и уходили какие-то женщины, которых я не знала. На кухне стало тесно и накурено. Отец сидел в углу и молчал, а Витька забился в комнату и оттуда не выходил.

Я вышла в коридор, чтобы не мешать, и оказалась у телевизора.

Телевизор бормотал сам себе — его включили и забыли. Шла программа «Время». Я села на пол у тумбочки, обхватив колени, и стала смотреть просто потому, что смотреть на экран было легче, чем на людей в кухне.

Сначала было про уборочную. Потом что-то про пленум.

Потом пошёл Берлин.

Я знала, что увижу. Я записала это в тетрадь четвёртого сентября, третьей строчкой сверху: ноябрь, стена. Я готовилась к этому два месяца, я репетировала свою реакцию, я представляла, как буду сидеть и чувствовать торжество.

Никакого торжества не было.

Диктор ровным голосом сообщил, что власти ГДР приняли решение открыть границу, и что желающие смогут выезжать свободно, и что подробности уточняются. Он сказал об этом коротко, между пленумом и погодой, — а может, это было уже на следующий день, я потом так и не смогла вспомнить точно. Толпу, ночь, прожекторы и людей, которые сидят наверху, на самом бетоне, показали позже, через день или два, и всё это было немного не так, как я помнила по картинкам, — гораздо более неаккуратно, тесно и по-человечески.

Я сидела на полу в коридоре, в трёх метрах от кухни, где хоронили мою бабушку, и смотрела, как в моей тетради сбывается вторая строчка за три дня.

Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Первый раз за два месяца — страшно физически, до холода в руках и до звона в ушах.

Потому что до этого вечера у меня оставалась лазейка. Я могла объяснить себе видик у Гены совпадением, могла объяснить пуговку памятью, могла считать всё это сном, затянувшимся бредом, чем угодно. Теперь лазейки не было. Тетрадь работала. Она работала на большем — на стране, на Берлине, на вещах, которых четырнадцатилетняя девочка из Москвы знать не могла ни при каких обстоятельствах. И она работала на маленьком, на моей собственной семье, на женщине в халате, которая держалась за косяк.

Я вспомнила, как две недели назад сидела за бабушкиным столом и думала, что ноябрь — это удобная проверка.

Меня замутило.

Я встала, дошла до ванной, заперлась, открыла воду и сидела на краю ванны минут пять. В ванной пахло стиральным порошком и мокрым бельём. Из кухни доносились голоса, и тётя Люся кому-то громко объясняла, что все места на Востряковском теперь только по знакомству.

Я не убила её. Я это понимала. Ей был семьдесят один год, у неё было то, что было, и это случилось бы точно так же, если бы я в сентябре не проснулась в своей детской кровати. В том, первом варианте моей жизни, где никакой тетради не существовало, всё произошло в тот же день и в том же порядке.

Но я знала. Я знала — и попробовала ровно три раза: спросила её саму, сказала матери в коридоре и сказала матери в троллейбусе. Три реплики. И на этом успокоилась, потому что мне ответили, что ей семьдесят один и что хорошего врача взять негде.

Взрослая женщина, у которой в голове двадцать шесть лет опыта, получила три отказа от уставших людей и отступила.

Я вытерла лицо, выключила воду и вышла.

Похороны были в субботу. Стояли долго, автобус опаздывал, потом ехали через полгорода, и всю дорогу тётя Люся рассказывала матери про какие-то бумаги на квартиру, а мать смотрела в окно и отвечала «угу». На кладбище было грязно и очень тихо, и я всё время думала,

что бабушка была выше меня, а теперь я вообще не могу вспомнить её лицо целиком — только руки и кофту.

Маркиза забрала соседка.

Поминки были у нас. Женщины на кухне резали селёдку, отец ходил за водкой, Витька заснул в одежде на диване, и я укрыла его пледом, потому что больше никому было не до него.

Ночью я вытащила тетрадь.

Открыла на второй странице, где было написано «Проверить», и посмотрела на две строчки. Первая — про стену. Вторая — «бабушка, ноябрь».

Я сидела над этими двумя строчками очень долго. Потом взяла ручку и вычеркнула вторую, зачеркнула плотно, в несколько слоёв, так, чтобы не читалось, и от нажима порвала бумагу.

Толку от этого не было никакого. Но смотреть на неё я больше не могла.

Потом перевернула страницу и стала думать дальше: больше делать было нечего, а спать я всё равно не могла.

Значит, тетрадь правдива. Значит, всё, что там написано, случится — деньги в девяносто втором, контора с процентами в девяносто четвёртом, август девяносто восьмого. Значит, у меня в руках не бред и не сон, а расписание на двадцать шесть лет вперёд.

И значит — вот это было самое главное, и я записала это той же ночью, потому что боялась утром смягчить формулировку, — знать бесполезно.

Знать вообще ничего не значит. Я знала — и ничего не сделала. Не потому, что не хотела, а потому, что мне четырнадцать, у меня нет денег, нет знакомств, нет права голоса, и три моих реплики весили столько, сколько весит мнение восьмиклассницы за семейным столом.

Между «я знаю» и «я могу» лежало расстояние, которое я до девятого ноября не понимала совсем.

Мне нужны были деньги. Не когда-нибудь, не в девяносто втором, не когда откроется рынок и станет можно — сейчас, в этом ноябре, любые, самые мелкие, потому что деньги были единственным, что превращало мнение в действие. С деньгами взрослые слушают. Без денег можно трижды сказать правильную вещь и трижды услышать, что тебе четырнадцать.

Я закрыла тетрадь, положила её обратно в стопку между алгеброй и историей и легла.

В воскресенье с утра я надела куртку и пошла во двор искать Гену.

Глава 6. Чего у меня нет

Гену я нашла у гаражей.

Он стоял с открытым капотом, в телогрейке поверх свитера, и что-то делал с проводами. Рядом на кирпиче лежали ключи и грязная тряпка. Было воскресенье, полдвенадцатого, из рта шёл пар.

Я подошла и остановилась в двух шагах — так, чтобы он меня видел, но не так, чтобы мешать.

Он поднял голову.

— Ирка. Ты чего опять?

За два месяца в этом теле я успела выучить одну вещь: со взрослыми нельзя начинать с просьбы. Просьба ребёнка включает у взрослого автоматический ответ, и этот ответ всегда «потом».

— Геннадий Палыч, — сказала я. — Вы в субботу сколько человек пустили?

Он выпрямился и вытер руки о тряпку.

— А тебе зачем?

— Двадцать один. Я считала.

— Ты считала, — повторил он.

— Считала. И в пятницу считала — семнадцать. И на прошлой неделе, в субботу, восемнадцать и потом ещё одиннадцать на второй. — Я говорила ровно и не торопясь — торопиться было нельзя. — Это шестьдесят семь рублей за две недели.

Гена посмотрел на меня внимательнее, чем смотрел до сих пор.

— Ну и?

— И на лестнице каждый раз сидят те, кого вы не пустили. В субботу их было четверо. Пацаны. У них есть по рублю, но вы их не берёте, потому что мест нет и потому что они орут.

— Правильно не беру, — сказал он. — Они мне диван вытопчут.

— Вы их берите днём.

Он сунул тряпку в карман телогрейки.

— Чего?

— Днём в воскресенье, — сказала я. — С двенадцати. У вас утром никого, вы спите. Ставите мультики — не «Кобру», а мультики, диснеевские, они у Витьки в классе уже все про них знают. Берёте по пятьдесят копеек, потому что у пацанов рубля нет, а полтинник им дадут. Пускаете двадцать человек. Это десятка за полтора часа, из ниоткуда, вечер у вас при этом свободен.

Гена стоял и смотрел на меня.

Я знала это выражение лица. Я видела его сто раз в другой своей жизни, на совещаниях, у людей, которым только что сказали простую вещь, которую они могли придумать сами и не придумали. Сначала человек хочет возразить. Потом считает. Потом злится, что не додумался.

— Кассету где взять? — сказал он.

— У вас на работе никто не пишет?

— Пишут.

— Значит, есть.

Он захлопнул капот, вытер руки ещё раз, хотя они уже были вытерты, и достал сигареты.

— Ты чего, Ирка, — сказал он почти дружелюбно. — Тебе четырнадцать лет. Ты чего мне тут бухгалтерию разводишь?

— Пятнадцать в феврале.

— Тем более.

Он закурил и оглядел меня сверху вниз, но уже без снисхождения, а как смотрят на непонятную вещь, которую нашли во дворе.

— А ты вообще откуда это всё берёшь? — сказал он. — Про полтинник, про мультики?

Вот к этому я была готова. Я готовила ответ три дня и выбрала самый скучный из возможных: скучным ответам верят охотнее.

— Я в очереди стою всё время, — сказала я. — Пока стоишь, слушаешь. Все жалуются, что детей девать некуда. И у нас в классе половина про эти мультики говорит, а посмотреть негде.

— Ну да, — сказал Гена. — Ну да.

Он молчал, курил и явно считал.

Я стояла и ждала. Мне очень хотелось добавить ещё три довода, у меня их было заготовлено пять, и это было бы худшее, что я могла сделать. За два месяца в этом теле я успела выучить и вторую вещь: подросток, который слишком хорошо аргументирует, вызывает не доверие, а тревогу.

— Днём, говоришь, — сказал Гена.

— Днём.

— А участковый?

А дальше я поняла, что до сих пор не понимала ничего.

Потому что участковый — это было первое, о чём подумал он, и примерно двадцатое, о чём подумала я. Я считала в голове проходимость и оборот, а мужик, у которого дома техника и семья, считал совсем другое.

— Он же к вам ходит уже? — сказала я осторожно.

— Ходит. — Гена сплюнул. — Я ему сказал, что это друзья. У меня, значит, каждую субботу двадцать друзей. Он не дурак. Он пока не хочет, а захочет — придёт.

— А если днём и дети?

— А если днём и дети, то одна мамаша напишет, что я тут кино кручу за деньги, и всё. — Он показал сигаретой куда-то в сторону соседнего подъезда. — Тамарка из тридцать второй напишет, я тебе точно говорю. Она на нас уже писала, что мы гараж не там поставили.

Я стояла и слушала, и мне становилось стыдно.

Стыдно было за собственную лёгкость. Я пришла сюда с расчётом на бумажке и с полной уверенностью, что взрослый человек просто не додумался, а он не додумался до одной вещи из двух, и вторую вещь знал гораздо лучше меня. Я знала будущее. Он знал Тамарку из тридцать второй.

— Значит, не по деньгам, — сказала я.

— Чего?

— Не берите с них деньги, — сказала я. — Пусть приносят.

— Чего приносят?

— Что дома есть. Кассету пустую, батарейки, лампочки, пузырьки сдать, что угодно. Или, — я подумала секунду, — пусть приносят по банке. Трёхлитровой. Их же сдают по сорок копеек. Двадцать пацанов — двадцать банок.

Гена засмеялся.

Он смеялся долго, с удовольствием, кашляя дымом, и я стояла и ждала, пока он закончит, и уже понимала, что банки — это глупость. Не потому, что не сработает, а потому, что таскать двадцать банок и сдавать их будет он сам, а мне четырнадцать, и вся эта конструкция придумана человеком, у которого нет ни машины, ни времени, ни возможности отойти от дома дальше чем на два часа.

— Ирка, — сказал Гена, отсмеявшись. — Ты вот что. Ты соображаешь, конечно.

— Спасибо.

— Приходи в среду, — сказал он. — Мне список надо переписать, кто когда приходил и сколько дал. У меня всё на бумажке и в голове, а голова дырявая. Посидишь час, перепишешь в тетрадку по-человечески. Три рубля дам.

Я стояла и молчала три секунды.

Мне предложили работу переписчицы за три рубля, и в этом не было ни капли издевательства. Он честно давал ребёнку честные деньги за час честной работы. По местным меркам это было почти щедро: у Кузьминой на неделю давали рубль.

— Хорошо, — сказала я. — Приду.

— Вот и молодец. — Он бросил окурочек и наступил на него. — И это. Про мультики я подумую.

Домой я шла медленно.

Три рубля. Первые деньги моей второй жизни — три рубля за переписывание чужого списка, и я даже не могла на них обидеться, потому что три рубля были больше, чем ноль.

Дома я села за стол и открыла тетрадь на чистой странице.

Взрослая женщина внутри меня хотела всё бросить и лечь лицом в подушку. Вместо этого я разделила лист пополам и написала слева «есть», справа «нет».

Слева получилось коротко.

Память на двадцать шесть лет вперёд. Умение считать. Умение разговаривать с людьми — правда, как выяснилось, не со всеми и не всегда. Знание того, чего бояться эти люди и чего они хотят.

Потом я стала писать справа, и справа пошло веселее.

У меня нет денег. Совсем — ни рубля, кроме тех, которые дают на обеды и на кино.

У меня нет паспорта. Паспорт дадут в шестнадцать, то есть через полтора года.

Я не могу устроиться на работу. Четырнадцатилетних не берут, а если и берут, то с разрешения родителей, и мать не даст.

Я не могу открыть счёт, подписать бумагу, заключить договор, снять помещение, купить что-нибудь дороже трёх рублей без объяснения, откуда деньги.

Я не могу поехать одна дальше двух остановок. Ко мне вообще никого не отпускают.

Я не могу сказать ни одному взрослому, откуда я знаю то, что знаю.

Я не могу выйти из дома после восьми.

Я дописала до конца страницы и остановилась.

В сентябре мне казалось, что главная моя проблема — поверить. Потом казалось, что главная проблема — вспомнить и записать. Теперь стало окончательно ясно, что и то и другое было простой частью.

У меня в голове лежало расписание на двадцать шесть лет и не лежало ничего, чем это расписание можно было пустить в дело. Всё, что я знала, имело смысл только в чужих руках. Любой мой рубль должен был пройти через взрослого. Любая моя мысль — быть произнесённой чужим ртом.

Значит, взрослый мне нужен не «когда-нибудь». Значит, это и есть моя работа на ближайшие два года: найти человека, который будет действовать, и стать тем, к кому он привык прислушиваться.

Гена на эту роль не годился. Гена был удобный, близкий и совершенно бесперспективный: он боялся Тamarки из тридцать второй, и правильно боялся, и дальше своего дивана не пошёл бы никогда.

Мальцев с приставками — может быть. Отец — может быть, но с отцом было хуже всего, потому что для отца я в первую очередь дочь и только в двадцатую — человек, который что-то говорит.

Я перечитала обе колонки, левую и правую, и приписала внизу, под всем списком:

«Три рубля в среду. Начало».

Выглядело это довольно жалко. Но я знала цену первым трём рублям лучше, чем кто бы то ни было в этом доме: через двадцать пять лет я буду сидеть в чужой бухгалтерии и считать чужие миллионы, так и не заработав своих, — если, конечно, ничего не изменю.

В среду я пришла к Гене в шесть, села за кухонный стол и переписала его каракули в общую тетрадь: даты, фамилии, суммы, кто должен и сколько.

Он посмотрел на готовое, крикнул и сказал:

— Слушай, а красиво.

И дал мне три рубля.

Глава 7. Политинформация

Политинформацию у нас вёл Сергей Львович, историк, и я его не помнила.

Он был молодой — лет двадцати семи, не больше, — носил свитер вместо пиджака и говорил быстро, глотая окончания. Через два года такие, как он, уйдут из школы первыми: кто в бизнес, кто в журналистику, кто торговать на рынке. Я это знала, а он стоял у доски, ждал, пока мы рассядемся, и был счастлив — за окном стоял конец восьмидесят девятого и ему казалось, что всё только начинается.

Политинформация была по понедельникам, первым уроком. Полагалось, чтобы кто-нибудь из класса рассказал новости, но рассказывать обычно приходилось ему самому, потому что газеты дома читали не все, а те, кто читал, стеснялись.

В тот понедельник он говорил про Восточную Европу.

— Смотрите, что происходит, — говорил он, расхаживая от доски к окну. — Люди выходят на улицы, и власть их слышит. Это и есть перестройка в широком смысле. Социализм не отменяется, социализм становится другим. Он избавляется от того, что мешало ему работать, и остаётся тем, ради чего его делали.

Кузьмина рядом со мной рисовала на промокашке лошадь.

Я сидела прямо, сложив руки на парте, и старалась ни о чём не думать. Это оказалось самым трудным упражнением из всех, какие мне выпадали за три месяца. Он говорил о будущем, которое я уже прожила. Не о своём мнении — о фактах, которых ещё не случилось, но которые для меня давно случились и давно кончились.

Через месяц Румыния. Через год с небольшим Вильнюс. Через двадцать один месяц он придёт в эту школу и не будет знать, что говорить детям, потому что то, о чём он рассказывал десять лет, отменяют за трое суток.

— Что нам это даёт? — сказал Сергей Львович. — Нам это даёт понимание, что реформы работают. И у нас с вами впереди девяностые годы, к концу которых, между прочим, по жилищной программе каждая советская семья должна жить в отдельной квартире.

Класс отреагировал вяло. Про отдельную квартиру нам говорили с первого класса.

Я посмотрела на календарь над доской.

До двухтысячного оставалось одиннадцать лет. Я решила не уточнять, в какой именно стране.

И вот тут меня и повело.

Три месяца я держалась. Три месяца сидела с постным лицом, молчала на литературе, молчала на истории, молчала, когда при мне взрослые люди строили планы на девяносто третий год. У меня был режим, у меня было правило, записанное собственной рукой: спорить только тогда, когда за это что-то дают.

За это ничего не давали. Я всё равно подняла руку.

— Соловьёва, — сказал Сергей Львович обрадованно: руку в понедельник первым уроком не поднимал никто и никогда.

Я встала.

Мне хватило полутора секунд, чтобы понять, что именно я собираюсь спросить, и ещё полутора, чтобы переделать вопрос так, чтобы он звучал глупо. Это оказалось важнее всего остального: вопрос должен был звучать по-детски.

— Сергей Львович, а квартиры на что построят?

Он моргнул.

— В смысле?

— Ну, на деньги. — Я развела руками, честно и растерянно, как разводит руками человек, который не понимает арифметики. — Их же надо построить. Их строят на что-то. А у нас в

стране, вы сами говорили, план не выполняется по многим отраслям и в бюджете дефицит. Если денег не хватает сейчас, откуда они возьмутся на квартиры к двухтысячному?

Класс проснулся.

Не потому, что вопрос был острый — по тем временам это был самый безобидный вопрос, какой можно придумать, я его специально таким и делала. Класс проснулся потому, что впервые за урок кто-то сказал что-то, чего не было в учебнике.

Сергей Львович остановился у окна.

— Хороший вопрос, — сказал он. — Средства найдутся за счёт роста производительности и перевода предприятий на хозрасчёт. Когда предприятие само отвечает за результат, оно работает эффективнее. Отсюда и средства.

— А у моего папы в институте хозрасчёт с весны, — сказала я. — И заказа нет с августа. И зарплату им дают из старого фонда.

Кто-то на задней парте хмыкнул.

— Это временные трудности переходного периода, — сказал Сергей Львович.

— А сколько он длится?

— Кто?

— Переходный период.

Класс засмеялся.

Смеялись негромко и коротко, без всякой политики, — просто у нас в стране в тот год смеялись на этой фразе примерно все, от гардеробщицы до министра, и восьмиклассники смеялись тоже, потому что слышали её каждый день по телевизору.

Я стояла и очень хорошо чувствовала, как в этот момент передо мной открылись две двери.

За одной можно было продолжить. У меня в голове лежало ещё пятнадцать вопросов, и каждый следующий был убийственнее предыдущего, и я знала, что ни на один из них у него нет ответа, потому что ответов не существовало в природе. Я могла разобрать всю его картину мира за четыре минуты, вежливо, с руками за спиной, на глазах у тридцати человек.

За второй дверью надо было немедленно замолчать.

Я замолчала.

— Извините, — сказала я. — Я правда не понимаю, откуда деньги. Я, наверное, невнимательно слушала.

Сергей Львович посмотрел на меня совсем не так, как смотрят на невнимательных.

— Садись, — сказал он. — Соловьёва, останься после урока.

Оставшиеся двадцать минут я просидела, глядя в тетрадь, и в голове у меня работало сразу два человека.

Четырнадцатилетняя боялась. Ей казалось, что сейчас будет разбор, дневник, родители, второй вызов за четверть, и мать этого уже не простит.

Сорокалетняя боялась гораздо хуже. Она понимала, что за такой вопрос в восемьдесят девятом году ничего не будет — не тридцать седьмой, не пятьдесят третий, в газетах пишут вещи вдесятеро злее. Но она понимала и то, что у любого человека есть память, и что через год, через три, через десять кто-нибудь вспомнит: была девочка, которая в восемьдесят девятом спрашивала, откуда деньги. Никто не сажает за вопросы. Просто вопросы запоминаются.

После звонка класс вымело за две минуты.

Сергей Львович сел на край стола.

— Ты откуда это взяла? — сказал он. — Про дефицит бюджета.

— По телевизору сказали.

— Где именно?

— Не помню. — Я пожала плечами. — Папа смотрел, я слышала.

Он покивал, но по лицу было видно, что он мне не поверил ни на секунду и что это его не расстроило, а обрадовало.

— Слушай, — сказал он. — А сделай доклад.

— Какой доклад?

— На следующую политинформацию. Пятнадцать минут. Экономическая ситуация в стране, как ты её понимаешь. Тебе явно интересно. — Он говорил быстро и с удовольствием, ему это явно казалось прекрасной идеей. — Я тебе газет дам подшивку, «Известия», «Аргументы и факты». Только не пересказ, а с выводами. Мне интересно, что ты думаешь.

Я стояла и смотрела на него, и мне хотелось сказать: молодой человек, вы только что предложили мне выйти к доске и пятнадцать минут вслух рассказывать классу, чем закончится ваша страна.

— Хорошо, — сказала я.

Доклад я сделала.

Три вечера я сидела над газетами, и это оказалось отдельным удовольствием, о котором я не подозревала: читать газеты восемьдесят девятого года, зная всё наперёд, — примерно как читать письма человека, который ещё не знает, что опаздывает на поезд. Там было всё. Цифры, признания, споры, аккуратные оговорки. Из этого можно было собрать любую картину, включая настоящую.

Настоящую я собирать не стала.

Я взяла три безопасные темы: дефицит товаров, кооперативы и то, как считают производительность. Я написала пятнадцать минут аккуратного, вежливого, почти скучного текста, где всё было правдой и ни одного вывода не доводилось до конца. Каждый раз, где напрашивалась фраза «значит, система не работает», я ставила «значит, вопрос требует дальнейшего изучения».

Я выступила в понедельник, получила пятёрку и увидела, как к концу моего выступления Сергей Львович перестал улыбаться.

Не потому, что я сказала лишнее. Потому что не сказала.

Он ждал от меня дерзости. Он был молодой, ему хотелось спора, ему хотелось, чтобы в его классе выросла девочка, которая режет правду-матку, и он бы ею гордился и, может быть, защищал бы её потом перед завучем.

А девочка вышла и пятнадцать минут говорила «вопрос требует дальнейшего изучения».

— Скучно, — сказал он мне после урока. — Ты же не так думаешь.

— Я так думаю, — сказала я.

— Ну-ну.

Домой я шла и подводила итог.

Итог был неприятный, но полезный. Я выяснила, где проходит граница, и выяснила дешёво: одна реплика — интерес, вторая — предложение выступить, третья — уже репутация. Дальше этой границы начиналась территория, где меня будут не наказывать, а напоминать, а напоминать меня нельзя ни в коем случае — впереди двадцать шесть лет, и в них я собираюсь быть человеком, о котором нечего вспомнить.

Вечером я открыла тетрадь и приписала под правилом про споры второе правило:

«Быть умной можно. Быть интересной нельзя».

Потом подумала и приписала третье, помельче:

«Смеяться в классе — только вместе со всеми».

Глава 8. Список

В декабре отца позвал Мальцев.

Я узнала об этом случайно, в пятницу вечером, и узнала, как узнают все дети в этой стране, — из-за неплотно прикрытой двери на кухню.

— ...говорит, оформим инженером, — говорил отец. — Работа та же, что я делаю сейчас, только под заказ. Триста для начала, потом от объёма.

— А трудовая? — сказала мать.

— Трудовую можно оставить в институте. По совместительству.

— Дим, — сказала мать. — Их же прикроют.

Я стояла в коридоре, в носках, не дыша, и мне очень хотелось войти в эту кухню и сказать: их не прикроют. Их не прикроют ни в девяностом, ни в девяносто первом, а в девяносто втором прикрывать будет некому и незачем, потому что через два года кооператив станет самым обычным способом жить. Мальцев прав. Мальцев вообще в этой истории единственный, кто прав.

Я не вошла.

Я стояла и слушала дальше, и услышала, как отец сказал:

— Да я думаю, Валь. Я не говорю, что пойду.

Вот на этой фразе я тихо ушла к себе.

Ночью я села за стол, достала тетрадь и открыла на чистом развороте. Мне нужно было наконец сделать то, что я откладывала три месяца: не вспоминать даты, а разобрать по пунктам, что из моего знания вообще можно превратить в деньги — и когда.

Я начала сверху, с самого крупного, и пошла вниз.

Акции. У меня в голове было четыре названия компаний, каждая из которых к моему последнему февралю стоила больше, чем сейчас стоит весь Советский Союз. Купить их нельзя. Не «трудно» — нельзя. Для этого нужна валюта, а операции с валютой в этой стране пока такая статья, о которой взрослые говорят понизив голос. Плюс счёт за границей, плюс сама заграница. Вывод: не раньше, чем страна перестанет быть этой страной. То есть три года минимум.

Валюта просто как валюта. То же самое, только глупее: сесть можно, а заработать почти нечего, потому что купить на неё здесь всё равно нечего.

Недвижимость. Я честно написала это слово и посидела над ним. Квартиры сейчас не продают. Их дают, меняют, получают, ждут в очереди по пятнадцать лет. Купить квартиру в декабре восемьдесят девятого — это не вопрос денег, это вопрос статьи. Всё меняется через два-три года, и вот тогда на этом можно будет сделать больше, чем на чём бы то ни было ещё. Записала отдельно, крупно: девяносто второй — девяносто третий. Приготовиться заранее.

Компьютеры. Тут я задумалась надолго. Я помнила, что через десять лет они будут у всех. Я помнила слово «интернет» и примерно помнила, что это такое, и совершенно точно знала, что не смогла бы объяснить, как он устроен, даже под угрозой. Я всю жизнь была человеком, который нажимает кнопки, а не человеком, который знает, что за кнопками. Что я могу сделать с этим знанием в восемьдесят девятом? Ничего. Мне некому его продать, и никто не поверит.

Техника вообще. Вот это уже теплее. Видики, магнитофоны, телевизоры, приставки, всё, что ломается и что негде чинить. Мальцевские приставки — это оно и есть.

Торговля. Самое очевидное и самое опасное. Купить дешевле, продать дороже — то, чем через три года будет заниматься половина страны, а сейчас за это дают срок и называется это словом, от которого у моей матери меняется лицо.

Услуги. Ремонт, репетиторство, перепечатка, переписывание кассет, фотография. Мелко, законно, доступно почти без денег. Годится как начало.

Я дописала до конца страницы и перечитала.

Получалось так. Всё крупное лежало за горизонтом в два-три года и требовало вещей, которых у меня не было и не могло быть: денег, паспорта, взрослого имени. Всё доступное сейчас было настолько мелким, что при самом удачном раскладе давало рублей сто в месяц.

Сто рублей в месяц — это, кстати, было очень много. Это было две трети материнской зарплаты. Просто по сравнению с тем, что я держала в голове, это выглядело как насмешка.

Я подчеркнула единственный пункт, который был и доступен сейчас, и вёл вверх, а не вбок.

Кооператив.

Потому что кооператив — это не деньги. Это взрослый с печатью. Это законный способ платить людям, брать заказы, покупать оборудование и держать наличные, не объясняя, откуда они. Всё, чего у меня нет и не будет ещё три года, у кооператива есть уже сейчас.

Мне нужен был не заработок. Мне нужна была контора.

В субботу я начала обрабатывать отца.

Я подошла к делу серьёзно и по-взрослому, то есть заранее решила, чего не делать. Не спорить. Не приводить аргументов больше двух. Не показывать, что мне это важно. За три месяца я уже выучила, что стоит мне слегка нажать — и любой взрослый в этом доме упирается просто из принципа.

Отец чинил утюг. Он всегда что-нибудь чинил по субботам, и это была единственная часть его жизни, где он выглядел довольным.

Я села рядом на табуретку и минут десять просто смотрела.

— Пап, а Мальцев тебя зовёт?

Он не удивился. У нас в квартире не было ни одной двери, за которой можно было бы что-нибудь скрыть.

— Зовёт.

— Ты пойдёшь?

— Не знаю, — сказал отец. — Мать против.

— А ты?

Он положил отвёртку и посмотрел на меня. У него было хорошее лицо в тот момент — усталое и очень честное.

— Ир, — сказал он. — Мне сорок два года. У меня стаж восемнадцать лет в одном месте. Если я уйду и это прикроют, я вернусь в тот же институт, но уже не начальником группы, а никем. И мать будет права.

— А если не прикроют?

— Тогда я буду дурак, что не пошёл, — сказал он спокойно. — Так тоже бывает.

Вот тут я поняла, что он всё понимает. Он не был ни трусом, ни дураком. Он просто считал вероятности — и считал их правильно для человека, который не знает, что будет дальше. Из его точки, в декабре восемьдесят девятого, кооператив был ставкой пятьдесят на пятьдесят, а на другой чаше лежала семья, восемнадцать лет стажа и вся его взрослая жизнь.

Я знала ответ. Я не могла его сказать.

Я могла сказать: «Иди, я точно знаю, что не прикроют». И он ответил бы: «Ты откуда знаешь?» — и на этом всё бы закончилось: у меня не было ни одного способа объяснить.

— А если бы ты знал, что не прикроют? — сказала я. — Пошёл бы?

— Если бы знал — пошёл бы завтра.

Он снова взялся за утюг, а я осталась сидеть и думать над самой обидной формулировкой из всех, что я слышала за эту вторую жизнь.

Если бы знал — пошёл бы завтра.

Он бы пошёл. Проблема была не в его смелости, а в моей немоте.

К Новому году отец Мальцеву отказал.

Я узнала об этом тридцать первого, за столом, когда он сказал матери «ну всё, я Мальцеву сказал», и мать так очевидно выдохнула, что стало ясно: этот разговор шёл в их спальне все три недели.

Я сидела за праздничным столом, ела салат, смотрела на ёлку, которую мы наряжали втроём с Витькой и матерью, и держала лицо.

По телевизору поздравляли, за окном хлопали, Витька канючил, чтобы ему дали шампанского, ему налили ложку, и он потом полчаса изображал пьяного. Мать надела платье, которое я помнила по фотографии. Отец был в свитере и очень старался быть весёлым.

Всё это была последняя нормальная новогодняя ночь в их жизни. Через год будут талоны, через два — цены, через три отец уже не будет никаким начальником группы. Я знала это точно и сидела с бумажным колпаком на голове, потому что Витька сделал колпаки на всех.

В два часа ночи, когда все легли, я вышла на кухню, села и открыла тетрадь.

Отец не годился. Это надо было признать честно и не тратить на это ещё полгода. Не потому, что плохой, — потому что для него я дочь, и это не изменится ни через год, ни через десять. Любое моё слово в его глазах весило ноль целых ноль десятых, и весило бы столько же, будь я хоть трижды права.

Значит, нужен был человек, для которого я не дочь. Человек, у которого уже есть контора и который уже принял решение рискнуть.

Я написала на чистой строчке одно слово: «Мальцев».

Я не знала его имени, не знала, где он живёт, не знала, как он выглядит. Я знала только, что он инженер из соседнего отдела в институте у отца, что он собирает какие-то приставки и что он единственный взрослый человек в моём радиусе, который уже сделал то, что все остальные боятся сделать.

Дальше нужно было придумать, как четырнадцатилетняя девочка знакомится со взрослым мужчиной, которого ни разу в жизни не видела, — и делает это так, чтобы никто в этом доме ничего не заметил.

Я сидела на кухне до трёх часов и придумала.

Глава 9. Первый рычаг

План был простой и довольно подлый.

Мне нужен был повод прийти к Мальцеву. Не «здравствуйте, я дочь Соловьёва из третьего отдела, давайте я расскажу вам, как надо вести дела» — с таким заходом меня погладили бы по голове и в лучшем случае угостили печеньем. Мне нужно было прийти к нему как человеку, у которого есть дело.

Дело у меня появилось второго января, когда у Витьки перестал работать кассетник.

Точнее, я ему помогла.

Кассетник был Витькин, подаренный на день рождения, отвратительный, с заедающей кнопкой, и Витька крутил на нём одну и ту же кассету с новогодней сказкой примерно шестьдесят раз. Я взяла его вечером, когда все смотрели телевизор, отвернула четыре винта на задней крышке, сняла с вала пассик — резиновое колечко, из-за которого вся эта техника обычно и умирала, — и растянула его так, чтобы он больше не тянул.

Потом собрала обратно.

Мне было слегка стыдно перед Витькой. Ровно до того момента, пока я не вспомнила, что через три года он будет ходить в куртке, из которой вырос, потому что новую не на что купить.

— Не крутится! — заорал Витька утром на всю квартиру.

— Дай сюда, — сказал отец.

Отец возился с ним полчаса, разобрал, собрал и сказал, что нужен пассик, а пассика нет, и в мастерской на Шаболовке очередь на три недели, и вообще они за такое не берутся.

— А Мальцев не починит? — сказала я. — Он же техникой занимается.

Отец оторвался от газеты.

Это была самая опасная секунда всего плана. Я произнесла фамилию Мальцева первый раз в жизни вслух, и если бы отец спросил «а ты откуда про Мальцева знаешь», я бы, конечно, ответила, что слышала, как они с мамой говорили, — и это было бы правдой, и это было бы нормально, но он бы запомнил, что я интересуюсь.

Отец не спросил.

— Мальцев починит, — сказал он. — Только ему некогда, он там с утра до ночи. Отдай в мастерскую у метро.

— В мастерской три недели.

— Ну значит, три недели, — сказал отец. — Я к Кольке сам съезжу, когда время будет.

Времени у отца не было никогда.

Адрес я узнала через два дня у Гены, который возил туда какую-то железку. Гена назвал улицу, не спросив зачем, — и на этом моя конспирация была закончена наполовину: отец знал, что кассетник я отдала чинить, и не знал куда.

Я подождала три дня, дала Витьке как следует понюхать, дала матери дважды сказать за столом «Дим, ну ты обещал» — и на четвёртый вызвалась сама — мне всё равно надо было в ту сторону, в библиотеку, а кассетник маленький и в сумку влезает.

Меня отпустили. Две остановки на метро, взрослый на том конце, дело понятное.

Подвал на Автозаводской нашёлся не сразу.

Кооператив «Импульс» помещался в полуподвале жилого дома, с отдельным входом со двора, и на двери висела табличка, написанная от руки, и вторая табличка, металлическая, оставшаяся от прежних хозяев: «Красный уголок».

Внутри было тепло, накурено и очень тесно. Вдоль стены стояли столы с разобранной техникой, горела настольная лампа, пахло канифолью, и в углу работал телевизор без корпуса. Двое мужчин сидели спиной ко входу и паяли.

— Здравсьте, — сказала я.

Один обернулся. Ему было лет тридцать пять, он был в очках и в халате поверх свитера, и у него было такое лицо, какое бывает у людей, которые всё время что-то решают в уме.

— Здравствуй. Ты к кому?

— К Мальцеву.

— Я Мальцев.

Я поставила сумку на свободный угол стола и достала кассетник.

— Пассик слетел, — сказала я. — Вал крутится, кассета не идёт. Двигатель живой, я слышала.

Мальцев взял кассетник, повертел и посмотрел на меня поверх очков.

— Слышала?

— Он гудит, когда нажимаешь. Значит, двигатель работает, а лента не тянется.

— Логично, — сказал он.

Он отвернул те же четыре винта, снял крышку, посмотрел секунд пять и хмыкнул.

— Ну да. Пассик. — Он открыл ящик стола, порылся, достал коробочку с колечками. — Пять рублей.

Пять рублей у меня были. У меня было девять — три от Гены за список, три за второй список и три, которые я скопила из тех, что давали на школьные обеды, питаюсь всухомятку и очень собой гордась.

Я положила пятёрку на стол.

Он поставил колечко за две минуты, собрал, включил, послушал, как поехала лента, и подвинул кассетник ко мне.

А я не ушла.

— Можно спросить? — сказала я.

— Спрашивай.

— У вас на двери написано «ремонт бытовой электроники, приставки под заказ». Приставки — это какие?

Мальцев откинулся на стуле.

— Игровые, — сказал он. — Собираем под заказ. Дорого, долго и мало кому надо.

— Мало кому надо, потому что дорого?

— Потому что дорого, потому что деталей нет и потому что люди не знают, что это такое.

— А телевизоров у вас в очереди сколько?

Он посмотрел на второго мужика, тот молча пожал плечами и продолжил паять.

— А тебе зачем? — сказал Мальцев.

Вот здесь я и сделала свой заход. Я готовила его неделю и сократила до трёх фраз. Я знала: у меня будет ровно столько времени, сколько потребуется взрослому человеку, чтобы решить, что со мной неинтересно.

— У нас во дворе шестнадцать подъездов, — сказала я. — В каждом что-нибудь сломано: у кого магнитофон, у кого телевизор, у кого проигрыватель. Все знают, что чинить негде и что в мастерской три недели и хамят. Никто не знает, что вы существуете. Я знаю. Я могу привести вам людей.

Мальцев молчал.

— Что ты хочешь? — сказал он наконец.

— Рубль с каждого, кого приведу.

Второй мужик перестал паять и обернулся.

— Сколько тебе лет? — спросил Мальцев.

— Четырнадцать.

— И ты, значит, хочешь работать агентом.

— Я не хочу работать агентом, — сказала я. — Я хочу приводить вам людей и получать за это рубль. Оформлять меня никуда не надо, ведомость на меня заводить не надо, я не работаю, я просто хожу по своим подъездам и говорю соседям, куда нести телевизор.

Я видела, как он это считает.

Он считал не рубль. Рубль был ерунда, рубль он бы и так дал. Он считал, что перед ним стоит восьмиклассница, которая говорит «оформлять меня не надо» и «ведомость заводить не надо», и это было то, чего не говорят восьмиклассницы.

— Ты откуда такая взялась? — сказал он.

— С Автозаводской две остановки, — сказала я.

Он засмеялся.

Смеялся он хорошо, не обидно, и, отсмеявшись, посмотрел на меня уже совсем по-другому — так, как смотрят на человека, с которым разговаривают, а не на девочку с кассетником.

— Ладно, — сказал он. — Приводи. Рубль с головы, если человек оставил технику в ремонт. Не привёл — не обижайся.

— Договорились.

— Тебя как зовут-то?

И тогда я на секунду замерла.

Потому что фамилия Соловьёва в этом подвале означала бы конец всей затеи. Мальцев работал с отцом восемь лет. Он бы позвонил ему в тот же вечер, сказал «слушай, у тебя дочка приходила», отец бы сказал «какая дочка», и всё.

— Ира, — сказала я.

— Просто Ира.

— Просто Ира.

Он покивал, ничего не сказал и вернулся к паяльнику, и я поняла, что этот человек прекрасно понял, что я что-то скрываю, и что ему пока не жалко.

За январь я привела одиннадцать человек.

Это оказалось самой унижительной и самой полезной работой в обеих моих жизнях. Я ходила по подъездам своего двора и соседних и звонила в двери. Мне открывали женщины в халатах, мужчины в майках, старухи, которые не открывали цепочку. Мне говорили «нам не надо», «иди отсюда», «ты чья?», один раз сказали «а мать твоя знает, чем ты занимаешься?» — и я весь вечер потом ждала, что мать узнает.

Меня не пустили на порог примерно тридцать раз. Одиннадцать человек донесли свою технику до Автозаводской.

Одиннадцать рублей.

Гена, кстати, стал двенадцатым, но с Гены я денег не взяла, потому что Гена был мой первый взрослый и потому что он в тот же вечер сам приволок в подвал видик и познакомился с Мальцевым, а через неделю они уже сидели там вдвоём и обсуждали, где брать кассеты.

Я это и планировала. Я просто не думала, что сработает так быстро.

В конце января я сидела дома и раскладывала на столе деньги: одиннадцать рублей от Мальцева и четыре, оставшиеся от прежних девяти. Пятнадцать рублей.

Пятнадцать рублей — это было ничто. На эти деньги нельзя было купить ничего, что имело бы значение: ни доллар, ни акцию, ни квартиру, ни даже приличную кассету.

Я сидела и смотрела на эту кучку мятых бумажек, и мне было очень хорошо.

Потому что до января у меня была только тетрадь. А теперь у меня был подвал на Автозаводской, взрослый мужик в очках, который со мной разговаривал, и одиннадцать человек, которые узнали про кооператив «Импульс» от меня.

Дело было не в пятнадцати рублях. Они были доказательством, что моё знание в принципе может превращаться во что-то, кроме бессонницы.

Глава 10. Кооператив

Модель с рублём за голову сдохла к середине февраля.

Я обошла свой двор, два соседних и половину квартала за трамвайными путями. Люди, у которых что-то сломалось, кончились. Осталась та часть человечества, которая живёт со сломанным телевизором годами и считает это нормальным.

За февраль я заработала четыре рубля.

Я сидела над своей тетрадью и понимала простую вещь: я упёрлась в потолок, потому что делала не своё дело. Ходить по подъездам мог кто угодно. Ходить по подъездам мог Витька за пятьдесят копеек, и, кстати, он потом и ходил.

Ходить ногами мог кто угодно. Продавать я должна была голову, а голова у меня была одна и очень специфическая: я знала, что будет через год.

В прокат я упёрлась случайно, стоя на площадке у Гены.

К нему теперь ходили не двадцать человек, а тридцать — он взял вторую кассету, потом третью, потом достал где-то ещё две, и по подъезду уже шла негромкая слава. И вот в тот вечер я стояла на лестнице и слушала, как мужик из шестнадцатой квартиры уговаривает его:

— Ген, ну дай на вечер. Я тебе завтра принесу. У меня свояк приехал, у него видик, а смотреть нечего.

— Не дам, — сказал Гена.

— Ну Ген.

— Не дам, я сказал. Не вернёшь.

Я шла домой по лестнице и считала.

Одна кассета стоила примерно как половина зарплаты — это если по-честному купить у людей, которые их привозят. Кассета в квартире у Гены за вечер приносила двадцать-тридцать рублей и требовала, чтобы двадцать человек сидели на его диване и топтали его ковёр. Та же кассета, отданная на сутки мужику из шестнадцатой, принесла бы трояк и не потребовала бы ничего.

Трояк в сутки. Тридцать кассет. Девяносто рублей в день из воздуха.

Проблема была одна, и Гена назвал её сам: не вернёт.

Я думала над этим три дня и придумала на четвёртый, и придумала не сама. Я просто вспомнила, как это будет устроено через два года в пункте у метро, куда я потом ходила и сдавала пятьдесят рублей залога за кассету, которую брала на два дня.

Двадцать пятого февраля я поехала на Автозаводскую.

Мальцев паял. Второй мужик, которого звали Витя и который за полтора месяца сказал мне суммарно четыре слова, паял тоже.

— Ира, — сказал Мальцев, не поднимая головы. — Ты мне за январь одиннадцать душ привела, за февраль четыре. Кончились твои подъезды?

— Кончились, — сказала я. — Я по другому делу.

Он отложил паяльник.

Я достала из сумки листок. Я его писала три вечера и переписала набело, потому что взрослому человеку нельзя показывать черновик — черновик выглядит как фантазия, а чистовик выглядит как документ.

— Прокат кассет, — сказала я. — При вашем кооперативе. Человек приносит паспорт, оставляет залог — столько же, сколько кассета стоит, — и берёт её на сутки. Плата три рубля. Не вернул — залог остался у вас, вы на него купили новую. Вернул — забрал свои деньги, отдал трояк. Тридцать кассет дают девяносто в день. Это больше, чем весь ваш ремонт.

Мальцев взял листок.

Он читал его довольно долго, дольше, чем нужно, чтобы прочитать двенадцать строчек. Потом положил на стол и снял очки.

— Ты понимаешь, что за это бывает? — сказал он.

— За прокат?

— За видео. — Он потёр переносицу. — Ира, там не только «не вернёт». Там что на кассете. Я не знаю, что там на кассете. Я её не смотрел и смотреть не буду, а придёт человек в форме и посмотрит. И спросит меня, откуда у советского кооператива «Импульс» тридцать кассет неизвестного содержания.

Я это предусмотрела.

— Значит, берём только то, что уже показывали в кинотеатрах, — сказала я. — Мультфильмы. Комедии. Наши фильмы, переписанные с телевизора. Ничего иностранного без разрешения. Пусть будет скучно и законно.

— Скучно и законно, — повторил он. — А кто это возьмёт?

— Все, — сказала я. — У кого дома видик и трое детей.

— У кого дома видик, тот хочет не мультфильмы.

— Тот хочет мультфильмы в среду и не мультфильмы в субботу. В субботу он идёт к Гене. Мальцев хмыкнул.

И вот тут надо было остановиться. Он думал, он крутил в руках листок, у него на лице было то выражение, которое я видела у него в январе, когда он считал.

Я не остановилась. Меня понесло — быстро, горячо, из самой середины, из той сорокалетней женщины, которую в этой жизни никто не слушает третий месяц.

— Николай Петрович, у вас в подвале четыре паяльника и очередь из чужих телевизоров, — сказала я. — Вы будете их чинить до пенсии. Вы уже сейчас работаете больше, чем в институте, а получаете почти столько же, потому что чините штучно. Вам надо не руками работать, а деньгами. Через год этих кассет будет в каждом дворе, и всё это займут другие люди, а вы так и будете сидеть с паяльником: вам страшно.

Стало очень тихо. Витя перестал паять и посмотрел на меня.

Мальцев положил очки на стол.

— Иди-ка ты домой, — сказал он.

Я стояла и молчала.

— Иди домой, Ира, — повторил он спокойно. — Мне четвёртый десяток, я в этом подвале сижу с семи утра, у меня жена и двое, и вот сейчас девочка четырнадцати лет объяснила мне, что мне страшно. Иди домой.

Я вышла на улицу и шла до метро, ничего не видя.

Он был прав, и это было самое обидное. Я сказала правду — но правду человеку, который эту правду знает про себя лучше меня, и сказала я её не для дела. Я сказала её потому, что меня третий месяц никто не слушает, и это выплеснулось на единственного взрослого, который со мной разговаривал.

Дома я легла лицом в подушку и пролежала так час, и подушка при этом была очень настоящая, а слёзы — четырнадцатилетние, обильные и совершенно бесполезные.

Потом я села и написала в тетради:

«Сорвалась. Цена — Мальцев. Не повторять».

Неделю я не ездила на Автозаводскую.

За эту неделю я успела продумать всё, что сделала неправильно, и вывод получился уничижительный до тошноты. Я вела себя как человек, у которого есть право. У меня нет никакого права. У меня есть информация, за которую я не могу отчитаться, и тело, которому четырнадцать лет, и это всё.

Взрослый мужик не обязан меня слушать. Убеждать его, что он не прав, бесполезно. Надо сделать так, чтобы решение оказалось его собственным.

Четвёртого марта я приехала снова и привезла с собой Гену.

Гену уговаривать не пришлось: я просто сказала ему, что придумала, как ему больше не пускать людей в квартиру, а деньги при этом получать те же. Он подумал два дня и сказал: «Слышь, а нормально».

Мы вошли в подвал вдвоём. Мальцев поднял голову, увидел меня и не сказал ничего.

— Здравьте, — сказал Гена. — Коль, я по делу.

Дальше говорил он.

Он говорил своими словами, гораздо хуже, чем я, путался в цифрах и один раз назвал залог залогом. Он сказал, что у него шесть кассет и ходят люди, что жена уже не может, что вчера прожгли диван, что он готов отдать кассеты в общее дело, если Мальцев даст помещение и оформит по-человечески.

Мальцев слушал.

— Витя, — сказал он второму. — Ты что скажешь?

— Тетрадь надо, — сказал Витя.

Это были самые длинные два слова, которые я от него слышала.

— Тетрадь я буду вести, — сказала я.

Мальцев повернулся ко мне. Первый раз за встречу.

— Ты? — сказал он.

— Я. Кто выдал, кому, когда, залог, возврат. Каждый день. Приходить могу после школы, с четырёх до семи. Денег не надо.

— Как это не надо?

— Пока не надо, — сказала я. — Через месяц посмотрите, сколько получилось, и сами решите.

Вот эту фразу я строила три дня.

Она делала ровно то, что было нужно: убирала меня из спора и оставляла решение ему. Взрослый человек, которому не надо ничего платить и который ничем не рискует, соглашается гораздо легче, чем взрослый человек, которого убеждают.

Мальцев подумал, взял листок, который я привезла в прошлый раз и который, оказывался, никуда не выбросил, а положил под настольную лампу, и постучал по нему пальцем.

— Десять кассет, — сказал он. — Не тридцать. Месяц. Всё через квитанции, паспортные данные переписывать. Если хоть один скандал — закрываем в тот же день.

— Хорошо, — сказала я.

— И вот ещё что. — Он надел очки. — Про то, что мне страшно, ты правильно сказала. Не надо было говорить, но сказала правильно.

Больше мы к этому не возвращались никогда.

Пункт открылся девятого марта, в подвале, в углу за занавеской, и первую кассету взял мужик из шестнадцатой квартиры, тот самый, свояк которого приехал с видиком.

Я завела общую тетрадь в клетку и разлинейла её на шесть столбцов.

К концу месяца в тетради было двести двадцать четыре записи.

Глава 11. Очередь

Месяц вышел девятого апреля, и Мальцев позвал меня считать.

Мы сели за стол под лампой, я открыла свою тетрадь, и он полчаса молча листал её туда-сюда. Тетрадь была хорошая. Шесть столбцов, ни одного подчищенного места, каждая строка своим числом, внизу страницы — сумма за день.

— Двести двадцать четыре выдачи, — сказал он. — Не вернули?

— Троих. Залог остался у вас, на него купили две кассеты и осталось ещё двадцать рублей.

— Скандалы?

— Один. Женщина сказала, что кассета была уже жёваная, когда брала. Я записала, что жёваная, при ней, в её присутствии, и залог вернули полностью. Она потом пришла ещё три раза.

Мальцев посмотрел на итоговую строчку внизу последней страницы и постучал по ней ногтем.

— Шестьсот семьдесят два рубля, — сказал он.

За месяц. Из десяти кассет, из угла за занавеской, из подвала, где четыре паяльника и очередь чужих телевизоров.

— Ремонт за март сколько дал? — спросила я.

— Не спрашивай, — сказал Мальцев.

Он снял очки, потёр глаза и сидел так секунд десять. Я не мешала. Я вообще за этот месяц выучила, что взрослому человеку иногда надо просто дать посидеть с цифрой.

— Тридцать кассет, — сказал он наконец. — И вторую точку. Мне Генка говорит, у него в соседнем квартале мужик такой же сидит, с видиком.

— Не надо вторую точку, — сказала я.

— Почему?

— Потому что вы не потянете учёт. У вас одна тетрадь и одна я. Сначала тридцать кассет здесь, потом посмотрите, сколько выдач в день, и если очередь встанет — тогда вторая.

Он посмотрел на меня и хмыкнул.

— Ты сколько хочешь?

Вот это был момент, к которому я готовилась месяц.

У меня были посчитаны три варианта. Процент с оборота — самое выгодное и самое невозможное: он взрослый мужик, и платить процент четырнадцатилетней ему покажется дикостью, а главное, процент надо считать вслух каждый месяц, а каждый месяц вслух — значит каждый месяц объяснять, почему я этого стою. Оклад — скучно, но понятно. Или ничего не просить и остаться незаменимой.

— Сто рублей, — сказала я.

Мальцев поднял брови.

— Ты знаешь, сколько сто рублей?

— Знаю. Это меньше, чем стоит человек, который каждый день с четырёх до семи пишет вам тетрадь и разговаривает с вашими клиентами. Найдите такого за сто, я не обижусь.

Он засмеялся, и я поняла, что попала.

— Восемьдесят, — сказал он. — И это не зарплата, ведомости на тебя нет и не будет. Это я тебе даю из кармана, и ты про это молчишь.

— Хорошо.

— И ещё, Ира. — Он собрал бумаги в стопку и выровнял её о стол. — Если придёт кто-нибудь и спросит, кто у меня тут работает, — ты дочка знакомого, зашла помочь. Поняла?

— Поняла.

Восемьдесят рублей он отдал мне в пятницу, четырьмя двадцатками, и я вышла из подвала с этими бумажками в кармане куртки и поняла, что у меня проблема.

Восемьдесят рублей — это больше половины материнской зарплаты. Их нельзя было положить в стол, потому что мать раз в неделю наводила в моём столе порядок. Нельзя было отдать домой, потому что первый же вопрос был бы «откуда», а второй — «а ну поехали, я на этого Мальцева посмотрю». Нельзя было потратить — любая купленная вещь в этой квартире была видна, как флаг.

Я ходила с ними три дня.

Спрятала в конце концов в переплёт учебника истории — разрежала с внутренней стороны бумагу, засунула две двадцатки, заклеила канцелярским клеем. Ещё одну положила под стельку зимнего ботинка, который до октября никому не нужен. Четвёртую оставила в кармане и на неё в субботу повезла Кузьмину на Пушкинскую.

Про очередь у меня в тетради стояла отдельная строчка, второй сверху, ещё с сентября.

Я знала, что там будет. Я стояла в этой очереди в своей первой жизни — в феврале, в снегу, часа три, с классом, и всё, что от этого осталось в памяти, — замёрзшие ноги и разочарование: котлета оказалась обыкновенной.

Мы приехали к одиннадцати, и очередь шла от угла и заворачивала за него.

— Ой, — сказала Наташа. — Мы отсюда до вечера.

— Часа два, — сказала я.

Стояли мы два с половиной.

Это была самая странная очередь, какую я видела в обеих своих жизнях. В ней никто не ругался. Люди в очередях восемьдесят девятого и девяностого года ругались всегда — за сахар, за масло, за сапоги, за место, — а тут стояли и переговаривались почти празднично. Впереди нас стояла семья с двумя мальчишками, и мальчишки играли в то, что они уже там. Сзади — два студента, которые всю дорогу спорили, надо ли брать сразу два.

Люди приехали со всей Москвы, чтобы постоять два часа и поесть.

Я стояла в этой толпе, смотрела на неё и медленно понимала, зачем на самом деле сюда пришла.

Не за котлетой. Котлету я помнила.

Мне нужно было увидеть, как это выглядит изнутри — так, как это видят люди, которые не знают, чем всё кончится: очередь, весна, чистые стёкла, форма на кассирах, вежливость, от которой все слегка обалдевают.

Через два с половиной часа мы вошли.

Внутри было светло и тепло, пахло непривычно, кассирша посмотрела на нас и улыбнулась, и Наташа от этой улыбки растерялась и забыла, что хотела заказать.

Я заплатила за двоих. Первый раз в жизни — в этой жизни — я платила за кого-то свои деньги, и это оказалось так хорошо, что даже неловко.

Мы сели у окна. Наташа развернула бумагу, откусила и замерла с закрытыми глазами.

— Ир, — сказала она с набитым ртом. — Ир, это же...

Тут я заплакала.

Совершенно неожиданно для себя, без всякой подготовки, сидя у окна с картонным стаканом в руках. Просто потекло, и я даже не сразу поняла, что это со мной.

Я плакала не из-за еды. Еда была такая, какой я её помнила, — обыкновенная.

Я плакала потому, что вокруг сидело человек двести, и все они были счастливы, и никто из них ничего не знал. Не знали про девяносто первый и девяносто второй. Про то, что через два года эти же люди будут стоять в других очередях, совсем не праздничных. Про то, что мальчишкам впереди сейчас по восемь-девять лет и через десять лет часть из них не доживёт. Про то, что вот эта весёлая женщина с сумкой потеряет все свои сбережения, и вон тот мужик в галстук потеряет, и Наташа, сидящая напротив с полным ртом, тоже.

Я сидела среди двухсот счастливых людей, одна знала, что будет дальше, и не могла сказать ни одному из них ни слова.

Никогда. Ни сегодня, ни через год, ни через двадцать лет. Даже если однажды я стану очень богатой и очень свободной, у меня всё равно не будет ни одного человека, с которым можно про это поговорить.

До этой субботы я думала, что моя главная проблема — возраст, деньги, документы и взрослые, которые не слушают. В подвале на Автозаводской это всё выглядело как задачи, а задачи я решать умела.

А тут выяснилось, что есть вещь, которую вообще нельзя решить.

— Ты чего? — испугалась Наташа.

Я вытерла лицо ладонью.

— Ничего. Вкусно.

— Дура ты, — сказала Наташа с облегчением и засмеялась. — Из-за котлеты реветь.

Она мне это потом припоминала лет двадцать, при каждом удобном случае, и в девяносто восьмом тоже припомнила, когда мы сидели у неё на кухне и она пересчитывала, сколько осталось от её денег.

Обратно мы ехали в троллейбусе, и Наташа всю дорогу рассказывала, как расскажет про это в классе.

Дома я достала тетрадь и записала то, что придумала, пока стояла в очереди.

Восемьдесят рублей в месяц — это хорошо и это ничего не значит. Через два года на них нельзя будет купить даже проездной. Всё, что я заработаю рублями до девяносто второго, сгорит вместе с материнской книжкой, если оставить это рублями.

Значит, рубли надо держать не в рублях.

Дальше я честно расписала, во что их можно превратить сейчас, — и список оказался коротким и довольно унылым. Золото — только через комиссионки и знакомых, и это разговор не для девочки. Валюта — статья. Техника — дешевет, как только её становится много, а её вот-вот станет много. Хорошие инструменты, книги, аппаратура — можно, но это вещи, а вещи надо где-то держать, а у меня нет ни угла, ни гаража, ни права на угол.

Оставалось одно, и, написав это, я долго на него смотрела.

Оставались люди.

Единственное, во что четырнадцатилетняя девочка может вложить деньги в апреле девяностого года без риска и без паспорта, — это в чужие дела. В Мальцева. В Гену. В любого, кто уже стоит на ногах и кому нужен оборот.

Не давать в долг под проценты — это опять статья, и опять разговор не для меня. А входить в долю, и не обязательно деньгами: временем, тетрадью, головой. Так, чтобы через два года, когда всё рухнет, у меня были не сбережения, а место в чужом работающем деле.

Я написала внизу страницы: «Деньги гниют. Доля не гниёт».

Потом подумала и приписала ниже, помельче:

«И это надо сделать до девяносто второго».

Глава 12. Откуда ты знаешь

Прокололась я на сигаретах.

В июне я сказала Мальцеву, чтобы он купил табака. Не одну пачку, не блок — сколько сможет, любых, хоть самых дрянных, и держал в подвале.

— Я не курю, — сказал Мальцев.

— И не надо. Это не для вас.

— Ира, у меня деньги в обороте. У меня кассеты, у меня детали, у меня Витька-паяльник просит новый тестер. Я на что тебе табак куплю?

— На двести рублей, — сказала я. — Больше не надо. Двести рублей — и через три месяца у вас будет валюта.

Слово «валюта» я употребила зря, и он на меня посмотрел так, что я тут же поправилась:

— В смысле — то, на что здесь всё меняют. Не деньги. Деньги будут дешеветь, а курево будет дорожать.

Он не купил.

К концу июля сигареты в Москве исчезли.

Не подорожали, не стали хуже — просто исчезли из киосков, из магазинов, отовсюду сразу. Взрослые мужчины ходили по городу и заглядывали в окошки, где ещё вчера всё было. У метро появились люди, продававшие с рук по три цены. В августе на нашей улице собралась толпа у закрытого табачного киоска, и толпа стояла долго и нехорошо, и мать не пустила меня в тот вечер даже в булочную.

Гена бросил курить на четыре дня, потом не выдержал и купил у мужика на рынке пачку за пятнадцать рублей.

Пятнадцать рублей за пачку, которая в июне стоила рубль двадцать.

Мальцев вызвал меня в подвал в конце августа.

Он был один. Витя ушёл в отпуск, за занавеской висел замок, лампа горела, хотя на улице стоял день, и на столе лежала моя тетрадь проката.

— Садись, — сказал он.

Я села.

— Помнишь, что ты мне в июне говорила?

— Помню.

— Двести рублей, — сказал он. — Я тогда посчитал, что двести рублей мне нужнее. На двести рублей в июне брали сто шестьдесят пачек. Знаешь, сколько сто шестьдесят пачек стоит сейчас?

— Примерно две тысячи, — сказала я.

— Две с половиной, — сказал Мальцев. — Я считал.

Он замолчал и стал протирать очки краем халата. Я сидела и ждала, и мне очень не нравилось, как он это делает.

— Ира, — сказал он, надев очки. — Откуда ты знаешь?

Вот и всё. Одиннадцать месяцев, с сентября по август.

Я знала, что этот вопрос будет. Я готовила к нему ответ с той самой недели, когда Гена спросил, откуда я взяла про мультики, и я тогда отделалась очередями. С Мальцевым очереди бы не прошли. Мальцев был не Гена: он инженер, он всё время считает, и он уже сложил не один случай, а несколько.

— Я не знаю, — сказала я. — Я догадываюсь.

— Догадываешься.

— Николай Петрович, посмотрите сами. — Я села прямее. — Что случилось за этот год? Талоны на сахар. Талоны на масло. Мыло пропало в мае. Спички были — нет спичек. Каждый

раз одно и то же: сначала товар дешёвый и его много, потом его не хватает, потом он исчезает вообще и появляется у людей с рук по три цены. Это происходит по очереди, со всем подряд. Я просто посмотрела, чего ещё не было.

Он слушал.

— Сигареты дешёвые, — продолжала я. — Сигареты все берут каждый день. Сигарет надо много, их делают на нескольких фабриках, и если хоть одна встанет — всё. И самое главное: без сахара человек живёт, без мыла терпит, а без курева взрослый мужик не может. Значит, за них будут платить сколько угодно.

— И ты это всё сама придумала, — сказал Мальцев.

— Я в очередях стою по два часа четыре раза в неделю, — сказала я. — Мать посылает. Я там ничего больше не делаю, только слушаю, о чём говорят. Люди в очереди говорят только о том, чего нет.

Это была правда. Каждое слово, которое я сказала, было чистой правдой, и в этом заключалась вся хитрость: я построила ему настоящее, работающее объяснение из настоящих, доступных ему фактов. Любой умный человек мог сделать этот вывод сам, если бы у него было время сидеть и складывать. У взрослых времени не было. У меня, с точки зрения окружающих, времени было навалом.

Мальцев побарабанил пальцами по столу.

— Складно, — сказал он.

— Вы же спросили.

— Спросил. — Он посмотрел на меня в упор. — А теперь скажи мне вот что, Ира. Ты в апреле сказала не открывать вторую точку, потому что учёт не потянем. В мае сказала не увеличивать закупку, пока не станет видно оборота. Тогда же сказала, что мужики с рук начнут писать кассеты сами и цена упадёт. Всё сошлось. А теперь табак.

Он загибал пальцы, пока говорил. Я смотрела на его руку и понимала, что происходит нечто, к чему я не была готова.

Он вёл счёт.

Не в шутку, не мимоходом — он держал в голове список моих попаданий, помнил месяцы и формулировки и, судя по всему, держал его давно.

Одиннадцать месяцев. Я пришла в этот подвал в январе, а он уже успел составить обо мне мнение, о котором я узнала только сейчас.

— Ну и ещё раз, — сказал он. — Ты в этом уверена или ты угадываешь?

И вот тут я приняла решение, которое потом определило всю мою жизнь, и приняла его за две секунды, сидя на табуретке в чужом подвале.

— Я угадываю, — сказала я. — И довольно часто мимо.

— Например?

— Например, я в феврале говорила Гене, что в мае магнитофоны подешевеют. Они подорожали. Я говорила вам в марте, что пойдут детские кассеты лучше взрослых. Не пошли, вы сами видели. Я в апреле сказала, что талоны отменят к осени. Не отменили.

Это была ложь.

Я никогда не говорила ничего подобного ни Гене, ни ему. Я придумала эти три промаха за тридцать секунд, придумала так, чтобы они были правдоподобными, недавними и совершенно непроверяемыми: два разговора с глазу на глаз и один пустяк, которого никто не станет вспоминать.

Мальцев подумал.

— Ну ладно, — сказал он. — Ладно.

По его лицу было видно, что стало легче. Люди вообще успокаиваются, когда узнают, что человек напротив ошибается. Точность пугает, а вот точность с промахами — это уже не

чудо, а талант, а с талантом взрослый человек умеет обращаться: талант можно похвалить, использовать и не бояться.

— Значит, так, — сказал он. — Табак я не купил, дурак. Дальше говори мне всё, что тебе кажется. Даже если мимо. Я сам решу.

— Хорошо.

— И это. — Он выдвинул ящик, достал две двадчатки и положил на стол. — Сентябрь вперёд. Считаю, штраф с меня за курево.

Домой я шла пешком через полгорода.

Мне надо было думать, а думалось на ходу лучше.

Он вёл счёт. Он — обыкновенный инженер из подвала, который меня любит, которому и в голову не приходит ничего дурного. Он просто складывал случаи, потому что у него такая голова.

А если складывал он — сложит и кто-нибудь другой. Не завтра. Через пять лет, через десять, когда попаданий наберётся не четыре, а сорок. И этот другой может оказаться человеком, у которого голова устроена ещё лучше и которому будет не всё равно.

Значит, мне нужен был не только ответ на вопрос «откуда». Мне нужна была статистика.

Вечером я села за стол, достала из стопки чистую общую тетрадь и надписала на обложке: «Ботаника».

Внутри я разлиновала первую страницу на четыре столбца: дата, что сказала, кому, случилось или нет.

Это была вторая моя тетрадь. В первой, которая лежала под обложкой с надписью «Литература», хранилось то, что я знала. Во второй предстояло хранить то, что я говорю вслух, — и следить, чтобы примерно каждое четвёртое было неверным.

Я сидела над пустой разлинованной страницей и очень отчётливо понимала, во что только что влезла.

Мне придётся ошибаться нарочно. Придётся время от времени советовать людям, которые мне доверяют, вещи, про которые я точно знаю, что они не сработают. Придётся терять из-за этого деньги — свои и чужие. Придётся делать это регулярно, годами, аккуратно распределяя промахи так, чтобы они выглядели естественно.

Плата за то, чтобы никто никогда не задал мне этот вопрос всерьёз.

Я вписала в первую строку вымышленный февральский разговор с Геной про магнитофоны, поставила в четвёртом столбце «нет» — и почувствовала себя человеком, который только что начал вести двойную бухгалтерию собственной жизни.

Через двадцать пять лет эта тетрадь — вернее, её седьмая или восьмая по счёту наследница, уже не тетрадь, а файл, — будет лежать у меня в сейфе в другой стране.

И один очень умный человек однажды скажет мне, что промахи в ней распределены слишком ровно.

Глава 13. Опасно умная

Осень девяностого началась с овощебазы.

Девятые классы возили туда по разнарядке: автобус подавали к восьми, ехали через весь город на окраину, и там в огромном холодном ангаре мы перебирали картошку. Ангар был бетонный, с открытыми воротами, изо рта шёл пар, под ногами лежала земля вперемешку с гнилью, и запах стоял такой, что первые полчаса хотелось выйти, а потом привыкал и переставал замечать.

Работа была простая: из общей кучи выбираешь гнилую, кидаешь в один ящик, хорошую — в другой. Хорошей было примерно треть.

— Ир, — сказала Наташа, стоя рядом со мной по щиколотку в картошке, — а ты знаешь, что вот эту, которую мы отбираем, всё равно потом в магазин привезут вместе с гнилой?

— Знаю, — сказала я.

— А зачем мы тогда?

— Затем, что нас привезли.

Она подумала и засмеялась.

Мы работали до трёх, нам дали по стакану чая и по бутерброду с сыром, и мужик в телогрейке, который командовал ангаром, сказал нашей классной, что дети молодцы. Обрато ехали в том же автобусе, все грязные и очень довольные: уроков в этот день не было.

Я сидела у окна, смотрела на осеннюю Москву и думала о том, что за четыре часа сорок человек перебрали шесть тонн картошки бесплатно, а мужик в телогрейке отчитается, что справился, и что вся эта страна держится на том, что кого-нибудь можно привезти и поставить.

За окном тянулись дома, гастрономы с очередями у входа и объявления, наклеенные прямо на стёкла: «сахар по талонам за сентябрь», «масла нет». В переулке у метро уже стоял кооперативный ларёк, свежий, обшитый вагонкой, и в нём продавали жвачку, зажигалки и вафли в яркой обёртке по такой цене, что покупали только те, у кого дети канючили.

Талоны у нас в семье лежали в жестяной коробке из-под чая на кухонной полке. Мать выдавала их по одному, как деньги, и один раз в октябре я потеряла талон на сахар — вытащила из кармана вместе с проездным, — и мне за это было так, как не бывало ни за одну двойку.

В школе тем временем шла своя жизнь, и в этой жизни меня решили выдвинуть.

Комсоргом класса.

Сказали мне об этом в середине октября, на перемене, буднично: Тамара Викторовна остановила меня у кабинета и сообщила, что Лена Сапрыкина уходит в другую школу и что классу нужен человек, и что решили, что справлюсь я.

— Почему я?

— Потому что тебя слушают, — сказала Тамара Викторовна. — И потому что ты аккуратная. Собрание в четверг.

Я стояла в коридоре и понимала, что вот оно.

Мне нельзя было соглашаться. Комсорг — это списки, взносы, отчёты, конференции, это человек, которого знают в школе по имени и который каждый месяц ходит к завучу. Это ровно то, чего я старательно избегала весь год: быть на виду.

И мне нельзя было отказываться, потому что отказ в октябре девяностого года всё ещё выглядел не как «не хочу возиться», а как позиция.

Я выбрала отказ и сделала это по-дурацки.

В четверг, на собрании, я встала и сказала, что не смогу, потому что у меня много пропусков и потому что я плохо учусь по алгебре. Всё было правдой: у меня действительно висела тройка, и я действительно исчезала три раза в неделю после четвёртого урока.

— Соловьёва, ты садись, — сказала Тамара Викторовна. — Мы не спрашиваем, можешь ты или нет.

— Тогда зачем собрание?

Класс хохотнул. Я услышала этот смешок и с ужасом поняла, что произнесла это вслух и что произнесла тем самым тоном — сорокалетним, спокойным, для взрослого разговора.

Тамара Викторовна оторвалась от бумаг.

— Останься после уроков, — сказала она.

Но после уроков говорила со мной не она.

Меня отправили к завучу.

Нину Аркадьевну я помнила очень смутно, а зря. Ей было под шестьдесят, она вела русский, носила костюм и брошь, и вся школа её боялась спокойным, привычным страхом, без всякой ненависти. В её кабинете стоял книжный шкаф со стёклами, на подоконнике — три горшка с алоэ, а на столе лежала стопка тетрадей и графин с водой.

— Садись, Соловьёва.

Я села.

Она не стала кричать. Она вообще ничего не стала говорить минуты полторы — читала что-то в бумагах, а я сидела и смотрела на алоэ.

— В прошлом году ты училась на четыре и пять, — сказала она наконец. — Сейчас у тебя три по алгебре, три по химии, и учителя говорят, что ты сидишь на уроках как приезжая. При этом ты выступаешь с докладом по экономике, который Сергей Львович до сих пор всем показывает. Объясни мне, что происходит.

— Я не понимаю алгебру, — сказала я.

— Это я вижу. Я спрашиваю о другом.

Она отложила бумаги и посмотрела на меня.

— Ты изменилась год назад, — сказала Нина Аркадьевна. — Осенью. У тебя умерла бабушка, я помню, и я сначала думала, что дело в этом. Но дети от горя не становятся такими.

— Какими?

— Взрослыми, — сказала она.

Я сидела очень тихо.

— Я в школе тридцать четыре года, — сказала Нина Аркадьевна. — Я видела всяких. Я видела умных, я видела наглых, я видела тех, кто рано начал зарабатывать и стал считать себя королём. Ты не из этих. Ты сидишь на собрании, где решается твоя судьба, и спрашиваешь взрослого человека, зачем тогда собрание. Так спрашивают не дети.

— Я не хотела грубить.

— Ты не грубила. — Она чуть подалась вперёд. — В том-то и дело. Ты не грубила, ты задала вопрос по существу, и в этом-то всё и дело, Соловьёва. Ты понимаешь, чем взрослый отличается от ребёнка?

— Чем?

— Ребёнок спорит, — сказала Нина Аркадьевна. — Взрослый понимает, что спорить не с кем.

Мы посидели молча.

Я смотрела на эту женщину и думала, что вот тут я допустила самую большую свою ошибку за весь год — не на собрании, а вообще. Я думала, что опасность придёт от Сергея Львовича, который молодой и хочет спора. Она пришла от завуча, которая тридцать четыре года смотрит на детей и умеет отличать одного от другого.

— Нина Аркадьевна, — сказала я. — Я согласна быть комсоргом.

— Теперь уже да, — сказала она.

И вот это «теперь уже да» я запомнила на всю жизнь.

Дальше она говорила спокойно и почти доброжелательно, и от этого было хуже.

Она сказала, что через полтора года мне выпускаться. Что при поступлении смотрят не только оценки, но и характеристику. Что характеристику пишет школа, и подписывает её директор, а готовит она, Нина Аркадьевна. Что в характеристике бывают слова «активна в общественной жизни», а бывают другие слова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.